

ТАТЬЯНА ЖАРИКОВА



## ПУТЬ НА ЭШАФОТ

К 170-ЛЕТИЮ КРУЖКА ПЕТРАШЕВСКОГО

*В повести “Путь на эшафот” использованы воспоминания петрашевцев, Ф. М. Достоевского, Авдотьи Панаевой, материалы судебного дела петрашевцев и произведения Ф. М. Достоевского.*

### ГЛАВА ПЕРВАЯ ЛИПРАНДИ У МИНИСТРА

Министр внутренних дел России Лев Алексеевич Перовский охотно принял чиновника особых поручений генерал-майора Ивана Петровича Липранди на другой же день после того, как тот попросил его об аудиенции. Министр хорошо знал Липранди. Познакомились они ещё в 1814 году в Париже во время Заграничного похода русской армии, когда Иван Петрович присматривался к методам агентурной работы шефа тайной полиции Франции Видока.

В России пути их разошлись, но Лев Алексеевич слышал, что Липранди разоблачил в России тайное “общество булавок”, знал, что тот был секретарём, казначеем и госпитальером масонской ложи Иордана. А когда в 1841 году Его Императорское Величество Николай назначил Перовского министром внутренних дел, тот сразу же пригласил генерал-майора в отставке Липранди к себе на службу чиновником особых поручений.

---

*ЖАРИКОВА Татьяна (Алёшкина Татьяна Васильевна) окончила Литературный институт им. М. Горького, член Союза писателей России с 1990 года, автор восемнадцати книг прозы и публицистики, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Литературной премии имени Льва Толстого и др. Имеет Благодарность Президента РФ В. В. Путина.*

Журнальный вариант.

Нельзя сказать, что Липранди нравился министру. Был Иван Петрович всегда мрачен, неразговорчив, необщителен. В молодости слыл бретёром. Лев Алексеевич слышал, что Сильвио, герой рассказа Пушкина “Выстрел”, списан с Липранди, который имел репутацию безрассудного храбреца и в то же время расчётливого и умного человека.

Министр Перовский смог оценить за семь лет службы ум и расчётливость своего чиновника особых поручений.

Генерал-майор Липранди вошёл в кабинет министра в генеральском мундире, как всегда, строгий, подтянутый. Худощавое лицо его было по-обычному хмурым. Волосы и усы, когда-то чёрные, теперь густо серебрились.

Перовский вышел из-за стола навстречу генералу ввиду особого расположения к нему. Они пожали друг другу руки, и министр указал рукой на кресло, приглашая Липранди расположиться в нём, а сам направился на своё место за стол.

Лев Алексеевич и внешне, и по сути своей был человеком добродушным. Липранди знал, что сейчас министр спросит о его здоровье (вопрос этот был ему с некоторых пор неприятен, ведь лета его приближались к шестидесяти), осведомится о его жене, о трёх сыновьях-подростках, и приготовил на все эти вопросы скорый ответ.

Так и случилось. Ответив, что дела у всех идут хорошо, здоровья своего он пока не ощущает, не знаком пока с болезнями и не собирается с ними дружить, он перешёл к делу.

— В Петербурге нами обнаружено тайное общество, — сказал он спокойно.

Министр Перовский до этого слушал Липранди с добродушной улыбкой, откинувшись на высокую спинку своего кресла, но услышав об обществе, сразу напрягся, выпрямился в кресле, облокотился о стол, весь подавшись к Липранди, и спросил быстро:

— Что за общество? Где оно собирается?

— Каждую пятницу в доме Буташевича-Петрашевского...

Министр с некоторым чувством разочарования снова откинулся на спинку кресла. Он знал о многих кружках Петербурга, знал, что по пятницам у богатого дворянина Петрашевского собираются молодые люди, спорят, философствуют, пьют вино. Лев Алексеевич сам в молодости был членом тайного общества “Союз благоденствия”, где молодые офицеры спорили о будущем России, мечтали содействовать её благоденствию.

— А-а, вы об этом Петрашевском? — сказал он. — О его тайном обществе весь Петербург знает. Каждый желающий может посещать его пятницы.

— Мне стало известно, — проговорил в ответ Липранди, — в последнее время там появляются офицеры, даже гвардейцы. Критикуют правительство, призывают к бунту, Его Императорское Величество называют богдыханом.

Министр Перовский снова выпрямился, снова облокотился о стол.

— Это уж серьёзно!.. — Он умолк на некоторое время, обдумывая, как поступить, и ответил спокойно. — Но дело политическое. Им должно заниматься Третье отделение.

— Вы же знаете, как Государь относится к тайным обществам, — ответил быстро Липранди. — Граф Орлов не откажется от такого подарка, чтоб заслужить очередную благодарность императора.

— Это так! — покачал головой Перовский.

— Я подготовил агента. Он войдёт в это общество и будет докладывать обо всех их намерениях и планах.

— Это интересно... — задумался на миг министр. — Может, нам удастся оставить с носом графа Орлова...

— И доказать Его Императорскому Величеству, — подхватил Липранди, — что тайная полиция состоит из одних ничтожеств.

— Ну да, если получится, мы будем выглядеть в глазах Государя спасителями Отечества...

— В свете ходят разговоры, что Государь намеревается возвести вас в графское достоинство...

Министр вновь откинулся на спинку кресла и посмотрел на Липранди долгим взглядом. Действительно, он сам через одного знакомого князя довёл до императора свою мечту стать графом. И, по словам князя, государь благосклонно отнёсся к его мечте. Значит, об этом уже известно в свете?

Под взглядом министра генерал опустил глаза и смахнул соринку со своих брюк.

— Через месяц жду от вас, Иван Петрович, — принял решение Перовский, — списки членов этого тайного собрания и доклад об их деятельности.

— Будет сделано! — ответил Липранди с готовностью и бодро.

— Я должен буду доложить Государю об этом деле... А если он прикажет передать дело в Третье отделение?

— Попросите оставить у нас... Ведь наш агент подвергается опасности. Попросите Его Величество, чтоб он пока ничего не сообщал графу. Тот, как всегда, рьяно возьмётся за дело, и мы останемся с носом...

## ГЛАВА ВТОРАЯ ЗНАКОМСТВО С ПЕТРАШЕВСКИМ И ЕГО КРУЖКОМ

Молодые литераторы, приятели Фёдор Михайлович Достоевский и Алексей Николаевич Плещеев, сидели в кондитерской за столом у окна. Здесь они частенько бывали, пили кофе, читали газеты. Вот и сейчас они зашли сюда, чтобы узнать новости.

В кондитерскую вошёл странный господин с неряшливой бородой, в необычно широкополой шляпе и широчайшем плаще и направился к прилавку. Плещеев, увидев его, молча свернул газету, бросил её на стол, поднялся и тоже пошёл к прилавку. Достоевский мельком взглянул ему вслед, дочитал заинтересовавшую его заметку, тоже свернул газету, оставил на столе и неторопливо двинулся к выходу мимо Плещеева, который что-то быстро говорил странному господину, а тот молча принимал пачку папирос у продавца.

Достоевский на ходу кинул Плещееву:

— Я пошёл!

— Сейчас догону! — отозвался Плещеев.

Достоевский вышел на улицу из кондитерской и потихоньку двинулся по улице. Он не видел, что сразу следом за ним вышли Плещеев со странным господином.

— Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить? — услышал за своей спиной Достоевский.

Он растерянно обернулся.

— А вы, собственно... — пробормотал он. — Простите...

— Это господин Буташевич-Петрашевский, Михаил Васильевич, — весело подхватил Плещеев, понимая, почему растерялся его приятель. — Я тебе рассказывал о его пятницах.

Достоевский протянул руку Петрашевскому:

— Рад знакомству...

— Приходите ко мне в пятницу, — предложил Петрашевский. — Буду рад.

— Как только освобожусь, загляну.

— Я его непременно приведу, — сказал Плещеев.

— На днях прочитал вашу повесть “Двойник”, — с интересом разглядывая Достоевского, произнёс добродушно Петрашевский, — “Бедные люди” прочитал ещё раньше... Убедительно хорошо!..

В пятницу в квартире Петрашевского, как всегда, собрались молодые люди. Были здесь поэты Дуров и Майков, купец Черношвитов, молодой Миловский чиновник Антонелли, поручик Григорьев. Богатый помещик Спешнев, очень обаятельный внешне мужчина с тонкими ухоженными усами, сидел за столом, держа руку на колокольчике. Возле него стоял Петрашевский

и что-то рассказывал ему. Было здесь ещё несколько человек. Все гости расположились так, как кому удобно: кто-то сидел на стульях, кто-то стоял у шкафа, рассматривая книги, кто-то разговаривал.

— Слышали, господа, — сказал громко поручик Григорьев, — Филиппов сутки на гауптвахте высидел?

— По какому случаю? — удивился Антонелли.

— А по случаю статьи, — пояснил Григорьев, — в ней он что-то насчёт театра сбрендил...

— А цензор что? — спросил поэт Дуров. Он недавно написал повесть, показал цензору. И теперь разговор о цензуре его сильно заинтересовал.

Григорьев засмеялся:

— Чуть не умер от трусости.

— Этот цензор поиздевался над моей повестушкой, — подхватил Дуров. — Просто узнать нельзя: из учителя сделал монаха, из дедушки сотворил бабушку.

— Зачем это? — смеясь, спросил Григорьев.

— Это, говорит, у вас тёмные личности, а у меня, мол, жена и дети. Мне, говорит, батенька, до пенсионера восемнадцать месяцев осталось... Влезьте-ка в мою шкуру, по-иному запоете...

— Потеха! — засмеялся Антонелли.

В открытую дверь комнаты вошли Плещеев и Достоевский. Петрашевский оторвался от Спешнева, взглянул на вошедших и быстро пошёл им навстречу.

— Фёдор Михайлович, рад вас видеть! Господа, кто не знаком, прошу любить и жаловать известного литератора Фёдора Михайловича Достоевского.

К Достоевскому, имя которого было уже известно в Петербурге, с приветствием подходят Григорьев, Дуров, Антонелли, здороваются за руку.

Спешнев поднимается за столом и выходит навстречу Достоевскому.

Гости Петрашевского по очереди жмут руку Достоевскому, представляются.

— Поручик Григорьев, Николай Петрович... Читал, наслышан.

— Пётр Дмитриевич Антонелли. С нетерпением жду новых повестей.

— Сергей Фёдорович Дуров.

Достоевский улыбнулся Дурову, задержал его руку в своей и прочитал стихи Дурова:

— *О род людской, как жалок ты!  
Кичась своим поддельным жаром,  
Ты глух на голос нищеты,  
И слёзы льёшь — перед фигляром!..*

Ваш усердный читатель. Рад знакомству!

— Я восхищён вашими сочинениями! — искренним тоном сказал Достоевскому Спешнев и представился: — Николай Александрович Спешнев!

Петрашевский указал Достоевскому на диван:

— Садитесь сюда, Фёдор Михайлович! Сейчас вам с Плещеевым принесут чаю.

— Лучше сразу вина, — засмеялся Плещеев.

— Вино потом, — серьёзно ответил Петрашевский и попросил служанку принести чай.

В этот момент в зал вошёл гвардейский поручик Момбелли, Петрашевский повернулся к нему и радостно поприветствовал:

— Давненько вас не видать, Николай Александрович, что нового?

— Главные новости ныне из Франции. Революция разгорается. Дело там принимает серьёзный оборот. Вы читали?

— Я полагаю, — подхватил Петрашевский, — всё будет зависеть от того, кто овладеет движением.

— И вся суматоха кончится лишь переменой министерства, — скептически заявил Спешнев.

— Ну, нет... — возразил Петрашевский, — этим не удовлетворятся... Подготовка шла несколько лет...

— Прав оказался банкир Лафитт, когда после революции тридцатого года заявил: “Отныне будут царствовать банкиры”! — проговорил Момбелли.

— Доцарствовались! — проговорил Петрашевский. — Всем надоела власть банкиров и коррупционеров.

— А я согласен с королём Луи-Филиппом, — заявил Григорьев. — Парижане никогда не делают революций зимой.

— Посмотрим, кого король поставит во главе правительства вместо ненавистного всем Гизо, — сказал Момбелли.

— Кого бы ни поставил, толку не будет, — уверенно заявил Спешнев. — Настоящие-то явятся потом. Теперь их никто не знает, да и они сами себя не знают...

Служанка принесла чай и подала Достоевскому и Плещееву.

— А что вы думаете, — засмеялся Антонелли, — вдруг король Луи-Филипп к нам сбежит — откроет женский пансион на Васильевском острове и меня возьмёт управляющим...

Несколько молодых людей подхватили смех Антонелли, а Петрашевский обратился к Достоевскому, который молча пил чай, сидя на диване.

— А вы какого мнения, Фёдор Михайлович, ужели во Франции всё кончится вздором? Не вспыхнет революция?

— Может, и вздором, а может, революцией... — ответил Достоевский. — То, что происходит во Франции, меня мало занимает.

— Как же так? — удивился Петрашевский. — На парижских улицах решаются общечеловеческие победы и поражения. Как же можно оставаться равнодушным?..

— Мне поистине всё равно, кто у них будет, — ответил Достоевский. — Луи-Филипп или какой-нибудь Бурбон, или республика... Кому от этого будет легче?

— Народу! — ответил Спешнев.

— Народ на некоторое время удовлетворится якобы его победой, — спокойно возразил Достоевский, — и пойдёт на ту же самую работу, прибыльную только для одного буржуа, а жить ни на волос не будет лучше...

— Да, на это возразить нечего, — согласился Спешнев. — Надо всё в корне менять!

— Задачи новой истории или тех людей, которые делают историю, гораздо проще, скромнее и плодотворнее, — проговорил Достоевский.

— Господа, — вмешался в разговор Дуров, — тема нашего заседания сегодня, кажется, касается журналов в России, а не революции в Париже.

— Отто-так! — кивнул головой купец Черносветов. Разговор о революции во Франции ему был мало интересен.

— Хорошо! Начинаем! — согласился Петрашевский и направился к столу.

Спешнев сел за стол и придвинул к себе колокольчик. В это время в зал стремительно вошёл студент Филиппов, сунул руку стоявшему возле двери Момбелли и спросил:

— Я, кажется, не опоздал?

— В самый раз, — ответил Момбелли с улыбкой, пожимая руку Филиппову, которого все петрашевцы любили.

— Умница этот Достоевский, — сказал тихонько Петрашевский Спешневу, когда тот сел за стол.

— Мне он очень понравился... — поддержал Спешнев. — Так у него всё просто, ясно, видно, что сам додумался...

— Это не фразёр, как многие из нас грешных... — улыбнулся Петрашевский.

Спешнев позвонил в колокольчик, призывая к тишине, и громко обратился к Петрашевскому:

— Михаил Васильевич, мы вас слушаем!

Петрашевский повернулся лицом к слушателям и начал говорить о пользе журналов для пропаганды своих идей.

— Публика наша в настоящее время привязана к беллетристическому роду литературы, — говорил Петрашевский. — Отстав от чтения стихов, она

сделала большой шаг в общем прогрессе... Но журналистика важнее беллетристики. Журналистика на Западе имеет такой вес потому, что всякий журнал там — отголосок какого-нибудь отдельного слоя общества. Нашим сочинителям недостает образования. Всякий со школьной скамьи уже воображает себя великим писателем. В литературе нашей преобладает только дух спекулятивности, а не желание передавать своим читателям истину, идеи, хотя бы немного человеческие.

Черносвитов, слушая, кивнул, проговорив:

— Отто-так!

Достоевский слушал Михаила Васильевича с одобрением. Он тоже считал, что журнал такой нужен. Не нравились ему только некоторые насмешливые выпады в сторону литераторов, которые он невольно относил на свой счёт. Слушая, он разглядывал Петрашевского. Был тот среднего роста, полноват несколько, на вид весьма крепок, на одежду свою он, видимо, совершенно не обращал внимания. Тёмные волосы его были растрёпаны, в беспорядке, борода, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Говорил он, прищуривая свои чёрные глаза, и смотрел не на гостей, а как бы вдаль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный. Говорил он голосом низким и негромким, уверенно, серьёзным тоном, но иногда придавал голову некоторую насмешливость и иронию.

— На Западе журнал — не спекуляция какого-нибудь одного лица, — продолжал Петрашевский, — но орган передачи всех идей и всех мыслей целого общества, содержащего этот журнал на акциях. И нам нужен такой журнал, чтоб распространять наши мысли в обществе...

— А цензура? Забыли о цензуре? — спросил Майков.

— Цензура не будет мешать, — ответил Петрашевский. — Цензорам надо представить истину в таком виде, чтобы они эту истину не могли бы принять за что-нибудь другое, кроме как за истину. И тогда цензоры не будут препятствовать.

— Журнал на акциях — химера, — уверенно возразил Майков. — И на цензора действовать убеждением глупо, не выйдет толка. Надо, наоборот, вокруг пальца цензоров обводить, чтоб хоть одна идея проскочила...

— А лучше всего редактору журнала быть в дружбе с цензорами и властями, — заметил Дуров. — Тогда, какую бы статью он ни захотел поместить, всякую пропустят.

Антонелли внимательно слушал разговор, переводил взгляд то на одного, то на другого говорящего.

— С кем его создавать, журнал-то! — Григорьев вскочил и заговорил горячо. — Все сочинители — люди тривиальные, убивающие время в безделье и гордящиеся своими доблестями больше какого-нибудь петуха...

— Не все такие, — попытался охладить его пыл Плещеев.

Но Григорьев не услышал его, продолжил так же горячо:

— Хоть, например, тот же Майков или Дуров посещают наши собрания уже два года, могли бы, кажется, пользоваться книгами Петрашевского и хоть наслышкой образоваться, но они не читали ни одной порядочной книги, ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвециуса.

— Не надо бранить литераторов, которые принадлежат к нашему обществу, — остановил Григорьева Спешнев. — Их большая заслуга, что они разделяют наши идеи.

Достоевский перевёл взгляд на Спешнева, который заинтересовал его сразу, как только он вошёл с Плещеевым в зал. Был Спешнев высок ростом, строен, красив, с тёмно-русскими кудрями до плеч, с большими серыми грустными глазами, в которых, несмотря на грусть, явственно сквозила какая-то спокойная, но холодноватая сила. Чувствовалось, что он умён, богат, образован. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя.

Петрашевский спокойно выслушал возникший спор и закончил:

— Я убеждён: журнал нам необходим. Нужно начинать вести пропаганду через печать. Пора приспела.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПЛЕЩЕЕВ О ПЕТРАШЕВСКОМ

Заседание у Петрашевского закончилось около трёх часов ночи, завершилось, как всегда, ужином с вином. Обсудив журнал, так и не придя ни к какому выводу — надо или не надо создавать журнал, и кто его будет делать, — гости по приглашению Петрашевского перешли в столовую. Там посреди зала стоял большой раздвинутый и накрытый белой скатертью стол, на нём кипел самовар, стоял чайный прибор, вино в гранёных графинах и разные закуски. Гости пили, ели, сидели и стояли кучками, говорили тихо, прохаживались и уходили. Всякий распоряжался сам, что кому нужно было, то и брал.

Достоевский с удивлением услышал здесь, что его приятеля Алексея Плещеева все зовут Андре Шенье. Он действительно был похож на портрет французского поэта: блондин, приятной наружности. “Бледен лик его туманный”, — вспомнились стихи и подумалось, что, впрочем, столь же туманно было и направление этого идеалиста в душе, человека доброго и мягкого характера. Плещеев сочувствовал всему, что казалось ему гуманным и высоким, но определённых тенденций у него не было, а примкнул он к кружку Петрашевского, видимо, потому, что видел в нём более идеалистические, чем практические стремления.

Вышли от Петрашевского Достоевский с Плещеевым вместе, как и пришли. На улице Достоевский спросил:

— Кто такой этот красавец Спешнев?

— Николай Александрович очень богатый помещик из Курской губернии. Коммунист. Последователь Вейтлинга.

— Богатый помещик и коммунист? — удивился Достоевский.

— И такое бывает, — засмеялся Плещеев. — Он вообще загадочный человек. Романтическое происшествие в его жизни заставило его провести несколько лет во Франции. Там он и познакомился с учением Вейтлинга.

И Плещеев рассказал Достоевскому, что Спешнев в двадцать один год гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика Савельева, и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьёзный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть дом Савельевых, оставив его жене письмо, объясняющее причины его неожиданного отъезда. Но госпожа Савельева, когда муж ненадолго отлучился, уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда.

— Она бросила своих детей и сбежала с ним за границу. Жили там четыре года, родили двух детей. А потом она повесилась, — закончил свой рассказ Плещеев.

— Повесилась? Почему? — удивился Достоевский.

— Ревновала. Он, вишь, красавец. Женщины от него без ума. Она повесилась, а он сюда.

— А дети?

— Дети его с матерью в деревне.

— Мне он показался умным человеком.

— Умница, но безбожник, атеист, как и все коммунисты.

— Это жаль! Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестаёт быть русским.

— Ну да, не православный не может быть русским... А ты ему понравился!

— Почему ты так решил?

— Я слышал, как он это сказал Петрашевскому.

— По-моему, и Петрашевский безбожник. Насмехается над религией.

— Ничего. Он хороший человек. Он даже не человек, а олицетворенное... ну, как бы это сказать? Самопожертвование... вечно хлопочет, только не о себе. При большом состоянии живёт, как попало, всё у него идёт зря, точно он на станции...

— Я назвал бы помешанным того человека, который не отдаёт себе отчёта в своих поступках, — сказал на это Достоевский.

— Может быть, Михаил Васильевич в чём-то заблуждается, но заблуждение его совершенно логично; он стоит на почве легальности, заметьте — формальной легальности... Мне известны некоторые факты из его жизни. Всё это, коли хотите, странно, эксцентрично, а придаться не к чему...

— Говорят, что он в своей деревне фаланстер по системе Фурье устраивал?

— Было дело, — засмеялся Плещеев. — Одна из его деревушек на болоте, избы подгнили, лес хоть под боком, да господский. Староста пришёл просить брёвен на починку развалившихся лачуг. Тогда Петрашевского осенила гениальная мысль, и он повёл беседу с крестьянами: не лучше ли будет им вместо того, чтобы подновить свои избы на заведомо нездоровом месте, выстроить в бору, на сухой почве, одну просторную новую избу, где бы поместились все семь семейств. Каждое в отдельной комнате, но с одной общей кухней для стряпни и такой же залой для общих зимних работ и посиделок, с надворными пристройками и амбарами для домашних принадлежностей, запасов и инструментов, которые также должны быть общими, как и вообще всё крестьянское хозяйство. Петрашевский долго развивал все выгоды такого общежития, обещая, конечно, всё устроить на свой счёт, купить заново все необходимые сельские орудия и домашнюю утварь: горшки, чашки, плошки. Староста слушал, “уставясь в землю лбом”, — рассказывал сам Петрашевский, — с той сосредоточенною миною русского мужика, по которой никак не узнаешь, понимает ли слушающий, что ему говорят, или думает о говорящем: “Ничего-то, брат, ты сам не понимаешь и только вздор городишь”. Он только низко кланялся при перечислении всех благ, какими барин собирался наградить своих верноподданных в их новой жизни, и на все его вопросы: “Ведь так будет не в пример лучше и выгоднее?” — отвечал: “Воля ваша, вам лучше знать, мы люди тёмные, как прикажете, так и сделаем”. Петрашевский напрасно старался добиться от него самостоятельного мнения об удобствах такого общежития, напрасно ждал, когда в его верном Личарде “новгородская душа заговорит московской речью величавой”; Личарда только кланялся и повторял: “Вы наши отцы, как положите — так и будет”. Нежелание мужиков изменить исконный, заповедный образ жизни было очевидно, хотя и не высказывалось прямо. Но оно было так естественно, что барин не удивлялся этому, хотя и решил всё-таки привести в исполнение свою идею, надеясь, что, испытав на деле все удобства нового рода жизни, они оценят заботы об улучшении их быта. От вековых привычек отстать нелегко. Крестьяне — те же дети, которых надо силою приучать к порядку, чистоте, опрятности. Петрашевский положил осчастливить детей природы вопреки их желаниям. “Не вытаскать их из болота, так они и совсем в нём завязнут”, — говорил он, и начал строить в лесу фаланстерию. Работа подвигалась быстро, и к зиме всё было готово. Беседы и разъяснения шли своим чередом во время постройки. Несколько раз Михаил Васильевич водил стариков в готовящееся для них помещение, знакомил их предварительно с его планом и расположением комнат, с новыми порядками, каким надо было следовать в общежитии, спрашивал, довольны ли они? Они ходили за ним по постройке с видом приговорённых к тюремному заключению, бормотали угрюмо: “Много довольны! Как будет угодно вашей милости!” При свидании со мной Петрашевский не раз сообщал мне о ходе дела, обещал рассказать подробнее, как они начнут жить в новой обстановке с Рождества 1847 года.

— Жизнь в таком фаланстере представляется мне ужаснее и противнее всякой каторги... — вставил Достоевский. — И что же дальше?

— Прошло Рождество, но он не показывался в Петербурге, — продолжил свой рассказ Плещеев. — После Нового года я узнал, что он приехал, но ко мне не являлся. Ещё через неделю я случайно столкнулся с ним на Невском.

— Что же ты не заходишь ко мне? Ведь ты же знаешь, как меня интересует твоя попытка, — сказал я.

Он казался сконфуженным и отвечал как-то неохотно:



— Да что, братец! Ты и представить себе не можешь, какие это дикари, сущие звери. Что они со мной сделали!

— Что же? Отказались переселиться в твою фаланстерию?

— Как же смели бы они это сделать, когда им приказывал барин?

— Так что же, наконец?

— Вообрази: накануне переезда я ещё раз обошёл с ними всю постройку, назначил каждой семье её помещение, указал на все его удобства, выгоды, передал всю утварь, какую закупил для них, все инструменты, велел перевести с утра скот и лошадей в новые хлева и конюшни, перенести весь скраб и запасы в амбары. С сознанием исполненного долга и доброго дела оставил я их, обещая на другое же утро приехать к ним на новоселье из дома лесничего, где я обыкновенно жил во время моих поездок...

— Ну, и что же? — спросил я, видя, что он остановился на последних словах, высказанных прерывающимся голосом.

— Приезжаю рано утром и нахожу на месте моей фаланстерии одни обгорелые балки. В ночь они сожгли её со всем, что я выстроил и купил для них.

— Все эти теории не имеют для России никакого значения, — сказал Достоевский, — в русской общине, в артели давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона, Фурье и его школы.

— Тут хоть понятны его действия: хотел всем показать, что теория Фурье верна, — продолжил Плещеев рассказ о Петрашевском. — Но, бывало, он выкинет такое, что чёрт его разберёт, зачем он это сделал.

— И что же это? — с улыбкой спросил Достоевский.

— Однажды он переоделся в женское платье и пошёл на службу в Казанский собор.

— Бороду хоть сбрил? — засмеялся Фёдор Михайлович.

— Нет. В усах, бороде и в женском платье.

— Его не арестовали?

— Намеревались. Квартальный подходит к нему и говорит: “Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина?”

— И что же Петрашевский?

— А тот в ответ: “Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина!” Квартальный растерялся, отошёл за подмогой, а Петрашевский — в толпу и скрылся.

— Он не объяснил, зачем он это сделал?

— Нет. Сам чёрт не разберёт, чего он добивался...

— Кем он работает?

— Переводчиком в Министерстве иностранных дел. Кстати, библиотеку свою из запрещённых книг он сформировал там. Его посылают переводчиком на процессы иностранцев, при составлении описей их выморочного имущества он выбирает из их библиотек все запрещённые иностранные книги, подменяет их разрешёнными.

— Видно, что образован он хорошо.

— Он закончил Царскосельский лицей, как и Спешнев, и Московский университет.

— А приглашает он к себе зря...

— Да какое же нам-то дело? Тут ничего нет общего; всякий отвечает сам за себя... Виноват ли я в том, что мой гость доврётся до чёртиков?

— Я заметил, среди его гостей есть люди весьма горячие...

— Есть, есть такие! Поручик Григорьев, например, и поручик Момбелли. Оба горячи, но умницы. А студент Филиппов хоть и молод, но сдержан. Весь в себе... Между прочим, они вместе со Спешневым по средам ходят к Дурову на литературно-музыкальные вечера.

— Сергей Фёдорович пригласил меня. Схожу непременно... А идея Петрашевского насчёт журнала мне понравилась. Только цензура будет препятствовать...

— Петрашевский знает, как обходить цензуру. Он уже это делал не раз, когда издавал “Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка”.

И Плещеев рассказал, как Петрашевский издавал этот словарь.

Узнав, что некий Кириллов намерен издавать с чисто коммерческими целями “Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка”, Петрашевский пришёл к нему и предложил себя в сотрудники, прося, и то только для того, чтобы не возбудить подозрения, весьма умеренного вознаграждения. Предприниматель, обрадовавшись столь выгодному предложению, предоставил Петрашевскому объяснение выбранных им слов. Петрашевский с жадностью схватился за случай распространить свои идеи при помощи книги, на вид совершенно незначительной. Он расширил весь её план, прибавил к обычным существительным имена собственные, ввёл своей волей в русский язык такие иностранные слова, которых до тех пор никто не употреблял, — всё это для того, чтобы под разными заголовками изложить основания социалистических учений, перечислить главные статьи конституции, предложенной первым французским учредительным собранием, сделать ядовитую критику современного состояния России и указать заглавия некоторых сочинений таких писателей, как Сен-Симон, Фурье, Гольбах, Кабэ, Луи Блан и др. Основная идея Фейербаха относительно религии выражена без всяких околочностей в статье о натурализме. Петрашевский дошёл до того, что цитировал по поводу слова “ода” стихи Беранже.

— А цензура? — спросил Достоевский.

— Словарь, для отвлечения цензуры, он посвятил великому князю Михаилу, брату императора Николая.

— И что же, статьи из-за этого посвящения цензоры не читали?

— Читали, конечно, читали. Цензуровали этот лексикон, выходявший небольшими выпусками, разные цензоры, а потому если один цензор не пропускал статью, то она переносилась почти целиком под другое слово и шла к другому цензору и таким образом протискивалась через цензуру, хотя бы и с некоторыми урезками. Притом Петрашевский, который сам держал корректуру статей, посылаемых цензуре, ухитрился расставлять знаки препинания так, что после получения рукописи, пропущенной цензором, он достигал, при помощи перестановки этих знаков и изменения нескольких букв, совершенно другого смысла фраз, уже пропущенных цензурою.

— А что же основатель лексикона Кириллов? Соглашался с ним?

— Кириллов был офицером, совершенно благонамеренным человеком с точки зрения цензурного управления и совершенно не соображавшим, во что превратилось в руках Петрашевского его издание... Успели выйти только два выпуска словаря, до слова — “орден рыцарский”, и продано было лишь несколько сот экземпляров, как полиция арестовала все остальные, лежавшие в книжных лавках. Цензор был представлен в верховный цензурный суд. Я не знаю, какая судьба постигла его. Это был очень боязливый и робкий человек. Он несколько раз говорил Петрашевскому, что его статьи доводят его до головокружения от панического страха. Но Петрашевский уверял его, что он нигде не переступил границ, указанных в тексте цензурного устава.

— Да, ловко он обходил цензоров.

— Вот я и пришёл... — Плещеев остановился около подъезда четырёхэтажного дома. — Спокойной ночи, Фёдор Михайлович!

— Спокойной ночи! А мне что-то совсем спать не хочется.

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ У ДУРОВА

Новые знакомые уговорили Достоевского прочитать на литературно-музыкальном вечере у поэта Дурова свежую, только что написанную главу из “Неточки Незвановой”. Вечером в среду к Дурову, как обычно, приехали Спешнев, поручики Момбелли и Григорьев, студент Филиппов. Литератор Александр Пальм снимал квартиру вместе с Дуровым. Он тоже присутствовал при чтении.

Читал Достоевский негромко. Он видел, что новые друзья его не отвлекаются, не переговариваются, чувствовал, что слушают они не из-за вежливости, а потому, что им действительно интересно, что он написал, и это воодушевляло его.

— Теперь я расскажу одно странное приключение, — Достоевский перевернул в тетради последний лист главы и продолжил читать, — имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переломом начавшее во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и, вместе с тем, в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грёзы, все мои порывы вдруг умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего неопытного душевного жара. Даже дарование моё, принятое всеми, кого я любила, с таким восторгом, лишилось моей симпатии, и я бесчувственно пренебрегала им. Ничто не развлекало меня, до того, что даже к Александре Михайловне я чувствовала какое-то холодное равнодушие, в котором сама себя обвиняла, потому что не могла не сознаться в том. Моя апатия прерывалась безотчётною грустью, внезапными слезами. Я искала уединения. В эту странную минуту странный случай потряс мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце моё было уязвлено... Вот как это случилось...

Достоевский закрыл тетрадь, положил на стол и взглянул на молча слушавших его молодых людей. Они начали шевелиться.

— Поразительно глубоко, — вздохнул Филиппов.

— Заинтриговали вы нас, Фёдор Михайлович, — проговорил Момбелли. — Что же это за странный случай, который так потряс её душу. Расскажите, не томите!

— Это я расскажу в следующей главе, — ответил Достоевский. — Перескажу, а потом вам неинтересно будет читать.

— Мы надеемся, что вы прочитаете эту главу нам, — сказал Дуров.

— Непременно, — согласился Достоевский. — Как закончу, скажу.

— Спасибо, Фёдор Михайлович! — заговорил Спешнев. — Заставили вы нас погрузиться. Какие великодушные идеи в каждой вашей повести!

— Без великодушных идей человечество жить не сможет, — вставил Дуров. — Быстро угаснет...

— Без идеалов, без определённых хоть сколько-нибудь желаний лучшего, — подхватил Момбелли, — никогда не может получиться никакой хорошей действительности.

— Ну да, — согласился Дуров. — Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда её.

— Вот такие идеи должен нести наш журнал, — вскричал Филиппов, видимо, для того, чтобы его слова лучше дошли до его старших приятелей, — справедливость, жажда добра для народа, сострадание к его нуждам!

— В России десятки миллионов страдают, — страстно заговорил Момбелли, когда Филиппов умолк, садясь на стул, — тяготеют жизнью, лишены прав человеческих, зато небольшая часть привилегированных счастливых нахально смеётся над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных проявлений мелочного тщеславия и низкого разврата, прикрито-утончённой роскошью. России нужна республика! Нам надо готовить её!

— Я заканчиваю писать “Солдатскую беседу”, — произнёс Григорьев, воспользовавшись небольшой паузой после слов Момбелли о республике, — где рассказываю о судьбе крепостного, насильно сданного в рекруты. Скоро прочитаю здесь. Надеюсь, мы её опубликуем в нашей типографии?

— Обсудим и решим, — солидным тоном заявил Филиппов. — Я убеждён, Фёдор Михайлович будет с нами сотрудничать.

— Господа, — обратился ко всем Дуров, — типография наша будет тайной. Надеюсь, что о ней никто не узнает за пределами нашего кружка.

— Петрашевского тоже не надо посвящать в это... — заговорил уверенным тоном Спешнев. — Мы будем готовить социалистическую республику, в которой будут все равны. Не будет ни буржуев, ни крепостных, ни пролетариев.

— Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, — с некоторым сомнением в голосе сказал Дуров, — именно он провозгласил, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. А как же быть с Богом? Ведь народ — это тело Божие.

— Ну да, — согласился Спешнев, — в этой формуле есть резон. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как в единого истинного. Никогда ещё не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый.

— Но у нашего народа уже есть свой Бог — Христос! — сказал Дуров. — И своя религия — Православие!

— Это общий Бог, — возразил Спешнев. — Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особеннее его бог.

— Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. Ты предлагаешь вернуться к язычеству? — спросил Дуров. — Верить в Перуна? Но тогда он был не один.

— Когда у многих народов становятся общими понятия о зле и добре, — стал разъяснять Спешнев, — тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был отделить зло от добра, напротив, всегда позорно и жалко смешивал их.

— А как же тогда быть? — спросил Филиппов.

— Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, — продолжил Спешнев, будто не услышав вопрос студента. — А всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов.

— Где же нам взять такого бога? — воскликнул Дуров.

— Если великий народ не верует, что в нём одном истина, если не верует, что он один способен и призван всех спасти своею истиной, — говорил спокойно и убеждённо Спешнев, — то он тотчас же перестаёт быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ.

— Где эта истина, по-вашему? В чём вера? — выпалил Момбелли.

— Истина эта и в то же время особая религия — коммунизм, — ответил уверенно Спешнев.

— Опять фаланстеры? — протянул разочарованно Момбелли. — Петрашевский попробовал осуществить со своими мужиками, а они спалили его прекрасный фаланстер.

— Фаланстеры — это фурыеризм. Утопия! — бросил с некоторой иронией Спешнев и добавил убеждённо: — Коммунизм — это когда все равны...

— У народа есть Бог — Христос! — заметил Дуров. — В другого Бога он не поверит.

— Сергей Фёдорович, если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? — спросил Спешнев.

— Я бы остался с Христом! — вставил молча слушавший спор Достоевский.

— А вы, Сергей Фёдорович? — не отставал от Дурова Спешнев. — Веруете вы сами в Бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в её Православие, — отчеканил Дуров. — Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...

— Вы искушаете нас, Николай Александрович! — перебил Дурова, обратился к Спешневу Григорьев.

— Хотите сказать, что во мне дьявольская сущность? — со смешком спросил Спешнев.

— Ну, нет, ваш атеизм, Николай Александрович, не допускает существования Бога, а значит и дьявола, — засмеялся в ответ Григорьев.

— Я думаю, что если дьявол существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию, — серьёзно заявил Спешнев.

— Как и Бога! — вставил Достоевский.

— Значит, вы согласны, Фёдор Михайлович, что Бога создал человек, а не Бог человека.

Спешнев произнёс это убеждённо и одобрительно, не как вопрос, а как положительное утверждение.

Достоевский смутился, опустил голову и, не зная, чем убедительно ответить Спешневу, промолчал.

## ГЛАВА ПЯТАЯ У МАЙКОВА

На другой день после вечера у Дурова Фёдор Михайлович Достоевский отправился к поэту Аполлону Майкову, с которым он был знаком много лет, частенько навещал его, знал его взгляды на всё, происходящее в России, знал, как он принимал близко к сердцу невзгоды и страдания народа, поэтому хотел предложить ему вступить в тайный кружок, который организывает Спешнев, и писать статьи для публикации в тайной типографии. Достоевский был уверен, что Майков поддержит его.

Аполлон Николаевич был дома. Встретил Достоевского радостно. Был он, как отметил Фёдор Михайлович, в каком-то возбуждённом состоянии, таким его Достоевский видел редко.

— Марь Семёновна, чайку нам принеси! — крикнул он хозяйке и повёл Достоевского в свою комнату.

На столе у него в беспорядке лежали бумаги с перечёркнутыми накрест строками.

— А я пишу! — поделился он радостно с Достоевским. — Наконец-то муза посетила! В этом году она мною брезговала... Послушай, что я только написал. Это из поэмы “Жрец”!

И он начал читать:

*О, злые чары женской речи!..  
Благоухающие плечи  
Пред ним открыты... ряд зубов  
Белел, как нитка жемчугов...  
Густые косы рассыпались  
Из-под повязки — и, блестя,  
Серёжки длинные качались,  
По ожерелью шелестя...  
И этот блеск, и этот лепет,  
И страстный пыл, и сладкий трепет  
В жреце всю душу взволновал:  
Окаменел он в изумленье,  
Но вдруг очнулся от забвенья  
И с диким криком убежал!*

— Ну как? — победно взглянул Майков на Достоевского и бросил лист на стол.

— Вижу, нелегко тебе дались эти сладкие звуки, — указал Достоевский на скомканные листы на полу и взял исчерканный лист со стола.

— Да, почеркать пришлось, но зато как звучно, как зримо и слышимо:

*...и, блестя,  
Серёжки длинные качались,  
По ожерелью шелестя...*

— *И этот блеск, и этот лепет,  
И страстный пыл, и сладкий трепет,* —

подхватил, читая, Достоевский.

Хозяйка принесла на подносе чай и печенья. Майков сдвинул на столе в сторону бумаги, освободил место для подноса и указал Фёдору Михайловичу на стул. Они сели. Достоевский проводил глазами уходившую из комнаты хозяйку и спросил:

— Нас никто не подслушает?

Майков машинально взглянул на приоткрытую дверь, встал, плотно прикрыл её и только тогда ответил:

— Нет. А что?

— Я хотел сказать тебе нечто важное... Отнесись к этому самым серьёзным образом...

— Можешь говорить спокойно...

— Мы, несколько человек, решили составить общество... тайно. И я хочу, чтобы ты был с нами...

— Что за общество? Кто в него входит?

— Организатор общества — Спешнев! Входят в него разные люди: литераторы, студент, два офицера, двое учёных... Это даёт нам возможность распространять революционные идеи в большом слое общества. Собираемся мы у поэта Дурова под видом литературно-музыкальных вечеров...

— Но с какой целью? — удивился Майков.

— Цель наша — подготовить и произвести переворот в России... Мы будем печатать книги, статьи. У нас уже есть типографский станок...

Майков растерянно и испуганно со стуком поставил свою чашку на блюдце.

— Станок? О нём же сразу узнают в полиции. Кто-то ведь его делал...

— Не узнают... — ответил уверенно Достоевский. — Делали его по чертежам, по частям, в разных местах... Ну как, вступаешь?

— Я не только не желаю вступить в общество, но и вам советую от него отстать, — горячо и быстро проговорил Майков. — Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?

— Мы не должны наблюдать со стороны, когда страдает народ, страдает вся Россия! — так же горячо, с некоторым разочарованием, что другу приходится доказывать очевидное, то, что тот не раз говорил сам, перебил Достоевский. — Справедливости нет, правды нет! Правительство утонуло во взяточничестве! В такое время позорно заботиться только о себе, о своём здорье! Подумай хорошенько...

— Нет, нет. И вам не советую... — стоял на своём Майков. — Бросьте! Это верная гибель!

— Ну, хорошо... — грустно бросил Достоевский, решив, что Майкова уговорить невозможно: невольник — не богомольник. — Надеюсь, об этом разговоре никто не узнает?

— Это я обещаю... — с облегчением выдохнул Майков. — Но повторяю, бросьте вы это дело...

— Кто же без нас это сделает? — промолвил с горечью Достоевский.

— Мой знакомый из Министерства внутренних дел сказал мне, что к Петрашевскому заслан шпион. Будьте осторожны...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ СНОВА У ДУРОВА

В очередную среду снова собрались у Дурова. Были здесь сам хозяин, Филиппов, Момбелли, Достоевский, Григорьев, Пальм и ещё два молодых человека, не знакомых Достоевскому. Не было только Спешнева. В ожидании его заговорили о красоте. Начал разговор хозяин. Он только что прочитал рассуждение французского философа о красоте и был под впечатлением прочитанного.

— Господа, я убеждён, поклонение красоте должно быть культом всякого рационально развитого человека, — заявил Дуров. — Физическая красота непременно предполагает совершенство интеллектуальное...

Достоевский, слушающая Дурова, вспомнил слова Майкова осланном к ним шпионе, подумал:

“Нет, Дуров не может быть шпионом. Кто же тогда?”

— А разве нет красивых дураков и дур? — засмеялся поручик Григорьев. Достоевский перевёл взгляд на Григорьева.

“А если Григорьев? Офицер, а такие речи? Почему?”

— Почти нет, — ответил Дуров и стал излагать положения прочитанной статьи. — Посмотритесь хорошенько, и вы откроете, что они вовсе не глупы: в них есть все зачатки для великолепного умственного развития. Винаваты ли они, что, вследствие нелепого нашего воспитания, зачатки так и остались зачатками... Это я могу подтвердить многочисленными наблюдениями.

— Над кем это? — выдал со смехом студент Филиппов. — Уж не над тем ли квартальным надзирателем, которым вы на днях в Пассаже любовались...

“Может, Филиппов? Надо с ним поговорить”, — подумал Достоевский.

— Ну-ка, ну-ка! — подхватил слова Филиппова Григорьев.

— Вообразите, господа, — смеялся Филиппов, — где нынче Адонисы отыскиваются — в полицейском мундире!

Все дружно и благодушно подхватили смех студента.

— Ай да Сергей Фёдорович! — смеялся и Момбелли. — В квартального влюбился!..

“Момбелли тоже исключать нельзя... Гвардейский офицер!.. Но говорят, у него свой кружок был. И крайне радикальный. Надо с каждым поговорить!” — решил Достоевский.

— Вы шутите, господа, — произнёс Дуров, — а я говорю серьёзно. Конечно, квартальный — это смешно... И он, наверное, глуп, как пробка, но ведь он же и не красавец: видный, статный мужчина, годится в гвардию — и только. А глаза у него совсем бараньи. Это несколько не опровергает моего положения; я говорю о совершенной красоте... гармонической... Возьмите нашего Спешнева...

В это время в комнату вошёл Спешнев.

— Я слышу, речь обо мне... — улыбнулся он.

— Лёгок на помине, — заметил Григорьев.

— Мы речь вели о совершенной красоте, — пояснил Дуров. — Я утверждал, что красота физическая всегда идёт рядом с красотой интеллектуальной.

— То есть красота присуща всему здоровому? — спросил Дуров, здороваясь со всеми по очереди за руки.

— А я думаю, что красота — это страшная и ужасная вещь! — брякнул вдруг Филиппов. — Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог загадал одни загадки.

— Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь, — подхватил Спешнев. — Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей.

— Если лишить человека идеала красоты, затоскует он, умрёт, с ума сойдёт, убьёт себя или пустится в языческие фантазии, — продолжил свою мысль Дуров.

— Мне часто приходит в голову: что уму представляется позором, то сердцу — сплошь красотой, — отметил Спешнев, садясь на диван.

— О какой красоте вы толкуете, — заговорил вдруг с возмущением Момбелли, обращаясь ко всем. — Сейчас началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда. Всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно, убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана.

— Я не знаю различия в красоте между какою-нибудь сладострастной, зверской штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества, — проговорил Спешнев как-то задумчиво и серьёзно. — И в том, и в другом я вижу совпадение красоты, одинаковость наслаждения...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ ФИЛИППОВ

От Дурова Достоевский вышел на улицу вместе со студентом Филипповым. Ему хотелось поговорить с ним. Они вышли на освещённую уличными фонарями набережную и осторожно направились по ней, стараясь не упасть на скользком льду. С вечера был небольшой дождь, потом подморозило, и улицы Петербурга стали скользкими. Шли неторопливо, разговаривали о Спешневе.

— Ты не находишь, Фёдор Михайлович, — сказал Филиппов, скользя по льду сапогами, — что в словах Спешнева есть какое-то ужасное обаяние?

— И сам он, как Мефистофель, красив, умён... — согласился Достоевский.

— Мне кажется, что если он верует, то не верует, что верует. Если же он не верует, то не верует, что не верует, — проговорил Филиппов, имея в виду отношение Спешнева к Богу.

— Да, он опасен и очарователен одновременно... — подтвердил Достоевский и спросил о другом: — Ты ещё не опробовал печатный станок?

— Как только подготовим несколько статей, я соберу его, отпечатаю и сразу разберу на части. Не дай Бог, кто-то увидит и донесёт...

— А если обыск?

— Части его я прячу в разных местах, даже если обыск будет, полицейские не догадаются, что это части типографского станка.

— Что-то ты сегодня бледный? — спросил Достоевский.

— Поневоле станешь бледный... коли есть нечего... — весело ответил Филиппов.

— Тебе вроде бы Спешнев деньги давал?

— Я их все на станок истратил.

— У меня тоже в кармане блоха на цепи, но на ужин на двоих хватит. Пошли в трактир.

Они направились к трактиру, над дверью которого горел фонарь, освещающая вывеску со словом "Трактир". Достоевский бывал в нём частенько.

— Эх, мне бы сейчас рублей 15–20 на кое-какое дело... — вздохнул Филиппов.

— Мне не 20 или даже не 50 рублей нужны, а сотни, — отозвался Достоевский. — Я должен отдать портному, хозяйке, возратить долг брату, и ещё, ещё... А всё это более 400 рублей.

— А ты к Спешневу обратись, — посоветовал Филиппов. — Он к тебе хорошо относится. Знает, что отдашь. Твои повести охотно публикуют.

— Я его мало знаю, да, по правде, и не желаю ближе с ним сходить-ся... — ответил Фёдор Михайлович. — Этот барин чересчур силён, не чета Петрашевскому.

Достоевский и Филиппов вошли в трактир. Там было шумно, многолюдно. Они остановились на пороге, стали высматривать свободные места за столами. К ним подскочил знакомый Достоевскому половой, в розовой рубашке, в чистом переднике, с жирно намазанными волосами, с умильной улыбкой.

— Я вижу, Сенька, места для нас нет, — обратился к нему Достоевский.

— Для вас, Фёдор Михалыч, завсегда отыщем, — с готовностью проговорил половой и пригласил за собой: — Идёмте!

Достоевский и Филиппов пошли за половым меж столов. Тот подвёл их к освободившемуся столу, смахнул с него полотенцем крошки и указал на стулья. Достоевский с Филипповым стали располагаться за столом.

— В кабинетике игра идёт. Есть интерес? — спросил половой. — Или сперва откушаете?

— Сначала откушаем. Принеси-ка нам, любезный, что-нибудь плотненько поужинать.

Половой быстренько убежал на кухню, ловко лавируя меж тесно расставленными столами.



— Встретил я недавно одно несчастное существо, — обратился к Филиппову Достоевский, — хотел помочь, а сам сир и убог. Жду, когда “Честного вора” напечатают... Кстати, ты не знаешь никого, кто бы мог порекомендовать молодую девицу в горничные?

— Обратись к Спешневу, для него это дело плёвое. Он всех знает, и его все знают.

— Всё в Спешнева упирается. Боюсь я его, он веру во мне поколебал.

— Давеча он убедительно о народной вере говорил.

— И Белинский в своём письме Гоголю о том же говорил, — вспомнил Достоевский о письме Белинского, которое Петрашевский просил прочитать в пятницу. Фёдор Михайлович знал, что студент хорошо знаком с этим письмом. — Помнишь: “По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почёсывая себе задницу. Он говорит об образе: годится — молиться, не годится — горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ”.

— А у меня из головы не выходят такие слова Белинского: “Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? — Попов. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?”.

— Страшно! Жутью веет от такого сознания...

— А ведь это так! Спорить с этим нельзя.

— Я как-то сказал: атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестаёт быть русским. Теперь думаю: так ли это?

— Я с этим не соглашусь... Мы же знаем, как вбивали религию в душу русского народа. Он это помнит, пусть не умом, душой помнит.

— Ну да, кровушки народной было пролито немало...

Половой принёс мясо на тарелках, графин вина, налил вина в стаканы. Достоевский поднял свой:

— За наше дело!

Они стукнулись стаканами, отпили по несколько глотков и принялись есть. Филиппов, хоть и был голоден, старался есть не спеша, сдерживал себя.

— Мне подумалось, а что ежели и вправду Бога нет? — сказал он. — Ведь у каждого народа свой бог! Как же так? У кого истина? В чём она?

— Христос не ответил на этот вопрос.

— Да, он мог бы ответить: “Я есть истина!” Но Пилат не поверил бы ему. Белинский не поверил, Спешнев не верит, Петрашевский... Тёмными их не назовёшь...

— Вот и мы засомневались.

— А если Бога и бессмертия нет, то, значит, мы сами человеко-боги и можем с легким сердцем перескочить всякую нравственную преграду раба-человека. Для бога не существует закона! Где станет бог — там уже место божие! Где стану я, там станет бог... Значит, “всё дозволено”, и шабаш!

Студент оторвался от еды и поднял вверх нож, стукнул торцом его ручки по столу, словно ставя точку.

— Всё это очень мило, — засмеялся Достоевский, — только если захотел мошенничать, зачем бы ещё, кажется, санкция истины?

— Таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

— Если человечество отречется поголовно от Бога, — медленно проговорил Достоевский, словно обдумывая каждое слово, — то само собою падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое.

— Фёдор Михайлович, как ты думаешь, — начал очень серьёзно студент, — как бы поступил Наполеон, ежели не было бы у него Тулона, чтобы карьеру начать, а была бы на пути просто-запросто старушонка, которую надо убить, чтоб из сундука у неё деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?). Ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было?

Вместо ответа Достоевский взял графин за горлышко и молча разлил оставшееся вино. Филиппов, тоже молча, смотрел на него.

— Я бы не решился! — ответил Достоевский.

— Это ты, ты сейчас так думаешь, когда карьера пошла... — быстро заговорил Филиппов, хватая со стола и поднимая свой стакан. — Но представь, что нет у тебя ни “Бедных людей”, ни славы, и ты знаешь, всё это будет, но надо для этого убить жалкую старушонку, решился бы ты на это?

— Так можно и себя убить! — ответил Достоевский шутливым тоном и стукнул своим стаканом по стакану студента.

Но Филиппов не захотел превращать серьёзный для него разговор в шутку, и он продолжил прежним каким-то мрачно-серьёзным тоном.

— Ты сам знаешь, Фёдор Михайлович, что кто крепок и силен умом и духом, тот и властелин! Кто много посмеет, тот и прав. Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!

— Не так... Если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными, — тоже серьёзно попытался возразить Достоевский, сам-то не особо веря своим словам.

— Чтобы общество устроить нормально, нужна власть, — страстно продолжил Филиппов, — а она даётся только тому, кто посмеет наклониться и взять её. Тут одно только, одно: стоит только посметь! Тут один вопрос: смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею...

Достоевский поднял стакан с остатками вина и проговорил задумчиво:

— Тварь ли я дрожащая...

Филиппов протянул к нему свой стакан и звонко стукнул о край:

— За тех, кто право имеет!

Они допили остатки вина. Увидев, что они поужинали, к их столу подошёл половой и начал собирать пустые тарелки и стаканы.

— Извольте что-нибудь ещё?

— В кабинет... — ответил Достоевский.

Он расплатился, осталось у него всего два рубля, две бумажки, и предложил Филиппову:

— Пошли в картишки перебросимся.

— Я не игрок.

— А я грешен... Пошли, посидишь так. Вдруг у тебя лёгкий глаз... Выигрыш от везения зависит.

В отдельном кабинете за круглым столом сидело пять игроков. Позади них стояло несколько человек наблюдателей за игрой. Достоевский с некоторыми игроками был знаком. Они, увидев его, приветствовали с улыбками и пригласили к столу. Один из них выдвинул стул из-под стола и указал на него Достоевскому. Фёдор Михайлович сел и стал наблюдать за заканчивающейся партией. Играли в стуколку. Один из игроков обремизился, не сделал ни одной взятки, и когда выигравший сгрёб с середины стола к себе все ассигнации, проигравший с огорчённым видом бросил на стол сумму выигранного счастливым банком.

— Ставки, господа! — произнёс один из игроков и стал тасовать карты.

Все игроки, и вместе с ними Достоевский, бросили в центр стола по одному рублю, и один игрок стал раздавать карты по три листа каждому.

Достоевский приоткрыл свои карты за уголки, увидел, что пришли ему козырная дама и семёрка с девяткой. Когда дошла очередь до него решать играть или сбрасывать карты, он стукнул костяшками пальцев по столу, указывая, что готов играть. Он надеялся, что к его даме придут козыри или тузы.

Три человека остались в игре. Достоевский сбросил семёрку с девяткой, в прикупе ему пришли козырная восьмёрка и простой король. Шанс на выигрыш был минимальный. Достоевский заволновался. Если у кого-то из игроков туз с королём козырные, то он обремизится, и ему придётся ставить двенадцать рублей, а у него было всего один. Можно опозориться! Первый заход, как и положено, был с туза козырного. Достоевский сбросил козырную восьмёрку, а третий игрок — козырного короля. Фёдор Михайлович вздохнул

с облегчением. Его дама осталась старшей. Одна взятка обеспечена. Повезло! Но неожиданно и простой король его оказался старшим. Один из троих игравших остался без взятки и вынужден был выставить на кон 12 рублей — столько было в банке. А Достоевский за две взятки получил восемь рублей. Придвинув к себе выигранные деньги, он с победной улыбкой оглянулся на Филиппова. Тот одобрительно похлопал его по плечу, поздравил с почином.

Играли часа два. Достоевский то проигрывался почти до конца, то выигрывал довольно большую сумму. Филиппову надоело наблюдать за игрой, он хотел уйти, но Достоевский задержал его, сказав, что доиграет последнюю партию, и они уйдут вместе. Ему на этот раз пришёл козырной король. Он надеялся, что в прикупе будет хоть один “kozyрёк”, тогда за ним будет одна взятка, и он выиграет и будет в выигрыше. Перед ним на столе лежало всего четыре рубля. Но в прикупе у него оказались два простых валета. “Если у кого-то туз козырной, то пропал!” — с трепетом подумал он, чувствуя жар во всём теле. Зашли с туза. Король сразу был бит. И валеты не помогли. Ремиз. Нужно ставить шесть рублей да рубль ставки, а у него всего четыре рубля. По местным правилам, он должен был поставить оставшиеся деньги на кон и выйти из игры. Огорчённый Достоевский сдвинул четыре ассигнации на середину стола и поднялся, взглянул разочарованно и убито на Филиппова и с надеждой спросил у того:

— У тебя трёх рублей нет?

— Откуда? — развёл руками Филиппов. — Не огорчайтесь вы так, Фёдор Михайлович!

Потухший взгляд Достоевского упал на серебряную цепочку карманных часов, торчащую из кармана студента, он протянул руку к цепочке и кинул быстро:

— Дайте часы!

— Не могу... — смутился Филиппов. — Подарок! Идёмте, Фёдор Михайлович. Поздно уже!

— Дайте часы! Я верну! — настаивал Достоевский.

Филиппов с сомнением и тревогой достал часы из кармана и протянул Достоевскому. Тот схватил их и поставил на кон.

Один из игроков взял часы, открыл крышку, повертел их, рассматривая, и вымолвил спокойно:

— Больше десяти рублей не дадим.

— Они почти тридцать рублей стоят! — воскликнул Филиппов.

— Сказано, десять рублей, — поддержали другие игроки. — Хотите — играйте, хотите — забирайте.

— Играем! — быстро брякнул Достоевский.

Игрок стал сдавать карты. Достоевский был на этот раз последний в очереди на вступление в игру. Перед ним три человека стукнули, вошли в игру. Достоевский, весь трепеща, осторожно, медленно открывал уголки карт, лежащих перед ним на столе вверх рубашками. Первая не обрадовала. Простая десятка! Вторая ещё хуже — восьмёрка. Очень медленно, с трепетом открывал уголок третьей карты: дама! Простая дама! Шансов никаких.

— Пас, — хрипло выдавил из себя Достоевский и сбросил карты. “Пролетели часы!” — мелькнуло в голове.

Сдающий карты тоже неожиданно стукнул по столу. Играющих стало четверо, а взятки три. “Значит, кто-то обремизится!” Появилась надежда. Достоевский с плохо скрываемым возбуждением и лихорадкой во всём теле следил за игрой. Когда один игрок взял две взятки подряд, он выдохнул с облегчением. Без взяток остались двое. Оба выставили на кон по двенадцать рублей.

Снова сделали ставки и раздали карты. Достоевский, кажется, в полуобморочном состоянии открывал свои карты. Первым оказался простой туз. Это совсем неплохо! Второй — козырная дама! Достоевский радостно затрепетал, открывая третью, но с ней не повезло. Шестёрка! Перед Достоевским стукнул только один игрок, двое сбросили карты. Следующий игрок после Достоевского, поразмыслив, тоже пасанул, но сдающий остался в игре. Трое!

Достоевский сбросил шестёрку, в прикупе получил бубнового короля. С разочарованием смотрел в свои карты. Проигрыш почти обеспечен! Дама козырная вне игры, она сразу будет бита. Надежда на туза, да и то призрачная — на то, что у двух игроков есть такая масть. Если нет у одного, “убьёт” туза козырной, пропали часы, и позор на сорок два рубля, которые лежали на кону. Их будет нужно ставить на кон для следующей игры.

Как и предполагал Достоевский, первый заход — с козырного туза, дама его ушла без следа. Следующий заход — с бубновой дамы, Достоевский “убил” её своим королём, думая, что третий игрок “убьёт” его короля либо тузом, либо козырьком. Но что это? Игрок сбросил бубнового валета. Достоевский еле сдержался, чтобы не вскричать от неожиданной радости. Часы Филиппова спасены! И туза его не смогли “убить”. Заход был его, у одного из игроков пропал туз другой масти, а у третьего не оказалось козыря. Две взятки!

Достоевский схватил со стола часы и протянул Филиппову. Он от волнения не заметил, как в кабинет вошёл половой, и не сразу понял его слова: — Господа, прошу меня извинить, — громко произнёс половой. — Трактир закрывается.

Достоевский с довольной улыбкой сунул в карман выигранные ассигнации и поднялся.

Только на улице, когда он чуть не упал, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре, Фёдор Михайлович немного пришёл в себя. Остановился под фонарём, вынул из кармана ассигнации и стал считать.

— Азартный вы человек, Фёдор Михайлович! — сказал Филиппов. — Так можно и жену проиграть.

— Слава Богу, не женат... — буркнул Достоевский.

Пересчитав деньги, он радостно воскликнул:

— Двадцать два рубля... Вот так: не было ни гроша, и вдруг...

Он взял две купюры по рублю, а остальные протянул Филиппову. Тот не взял.

— Бери, бери. Без твоих часов их бы не было... — сказал Достоевский. — Ты говорил, что нужно двадцать рублей. Вот они... Я знаю, ты их потратишь на доброе дело... А у меня как было два рубля перед игрой, так и осталось. Зато вечер провёл с наслаждением.

Филиппов неуверенно, сомневаясь, что он правильно делает, взял деньги у Достоевского.

— У тебя случайно нет знакомых в министерстве внутренних дел? — спросил Фёдор Михайлович, когда они, скользя по льду, двинулись по домам.

— Нет. А зачем? Я поспрашиваю у друзей...

— Я пишу рассказ... Хотел проконсультироваться...

На перекрёстке они попрощались, пожали друг другу руки, и Достоевский направился к своей улице.

“Нет... Филиппов не шпион!” — уверенно подумал он.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО

Через месяц генерал-майор Липранди вручил министру внутренних дел Перовскому папку со списком посещавших тайное общество Петрашевского и с подробными докладами агента обо всех выступлениях и разговорах на его вечерах.

— Можно докладывать Его Императорскому Величеству? — спросил Петровский, принимая папку.

— Погодите ещё месяцик, — ответил Липранди. — Торопиться некуда. Больше информации соберём.

Достоевский в очередную пятницу у Петрашевского читал письмо Белинского Гоголю. За столом, как обычно, сидел Спешнев. Фёдор Михайлович стоял возле стола с листами в руке. Достоевский на вид был болезненный,

бледный, щупленький, и казалось, что такой человек будет и читать робко, неуверенно. Но во время чтения произошло его преобразование, читал он страстно, убеждённо. Читая письмо Белинского, Достоевский слышал его страстный голос, видел его худощавое лицо с высоким лбом. У Петрашевского в тот вечер, как никогда, было много гостей, больше двадцати должно быть. Сидели в креслах вдоль стен, на диване, вокруг стола, за которым на президентском месте был Спешнев. Он слушал, поглаживая пальцами ручку колокольчика в виде статуэтки богини. Кое-кто стоял в двери в соседнюю комнату, где они вели свой разговор, но услышав чтение интересного письма, вышли сюда.

С другой стороны возле Фёдора Михайловича сидел Черносивитов, одноногий купец из Сибири, широколицый, скуластый, с монгольскими глазами. Он недавно приехал из Иркутска, где, как говорили, имел большое влияние на генерал-губернатора. Высокий студент Филиппов стоял возле книжного шкафа с открытой книгой в руках и улыбался, поглядывая на слушателей так, словно это он написал письмо. Содержание писем он знал почти наизусть и теперь, вероятно, следил за текстом. Достоевский выделял интонацией наиболее острые мысли Белинского:

— Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в етизме, — читал в полной тишине Достоевский, — а в успехе цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы (довольно она твердила их), а пробуждение в народе чувства собственного достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе.

— Вот это верно! — не удержавшись, восторженно воскликнул Филиппов.

— Тише ты! — шикнул на него Спешнев. — Дай послушать!

— Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь — уничтожение крепостного права... — читал Достоевский

— Сила, сила нужна: без силы ничего не возьмёшь; а силу надо добывать силой же! — снова крикнул Филиппов.

— Отто-так! — поддержал его Черносивитов своей обычной присказкой.

— Вот! Вот она сердцевина! — воскликнул поручик Момбелли.

Все зашевелились, стали возбуждённо переговариваться. Спешнев поднял колокольчик и начал звонить в него, пока снова не установилась тишина.

— “А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого Вы нашли в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого, и виноватого? — продолжил чтение Достоевский. — Да это и так у нас делается зачастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться...”

— Вот где сердцевина всего! — обратился Петрашевский к Момбелли.

Спешнев снова позвонил в колокольчик.

— Господа! Так мы письмо до рассвета не дочитаем!

— “Теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех её издания в свет искупить новыми творениями, которые напоминали бы Ваши прежние”, — закончил чтение Достоевский.

Фёдор Михайлович положил последний лист на стол и сел рядом со Спешневым. Все сразу начали шевелиться, переговариваться.

— Отто-так! — радостно произнёс Черносивитов, покачивая своей большой головой.

— Господа! — заговорил горячо Момбелли. — Белинский правильно сказал, в настоящее время всех передовых людей занимают три вопроса: освобождение крестьян, улучшение судопроизводства и утверждение полной гласности, отмена цензуры. Я считаю, что самый важный вопрос, что идей каждого должно быть освобождение крестьян.

— Как можно достичь этого? — неуверенным тоном спросил Антонелли.

— Правительство не может этого сделать, потому что освободить без земли нельзя. Восстание крестьян неизбежно, — уверенно заявил Момбелли. — Они достаточно сознают тягость своего положения, и мы обязаны способствовать скорейшему возникновению бунта. Только с помощью бунта можно освободить крестьян.

— Я не могу согласиться с тобой, — возразил ему Петрашевский. — По моему мнению, вопрос первой важности есть вопрос о судопроизводстве...

— Почему? — спросил Момбелли

— По двум основаниям. Во-первых, вопрос об освобождении крестьян касается только двенадцати миллионов крепостных... А улучшение судопроизводства касается всех сословий. Потребность справедливости, суда правого есть общая потребность, а при настоящем судопроизводстве с закрытыми дверями оно не достигает цели...

— Не статистика, не цифры определяют потребность народа, — убеждённо и страстно перебил Момбелли. — Они определяются наибольшей справедливостью — вот мерило потребности! Справедливость нарушается существованием крепостного сословия, не имеющего никаких юридических прав, а потому вопрос первой важности есть освобождение крестьян.

— Я не закончил... И второе основание — то, что настоящее экономическое положение страны не выиграет при освобождении крестьян, — стоял на своём Петрашевский. — Оно может повлечь за собой столкновение сословий.

— И это хорошо! Нужен бунт! — воскликнул Момбелли.

— Бунт гибелен, как сам по себе, так и по своим последствиям, — спокойно возразил Петрашевский. — Улучшение же судопроизводства представляет обществу необходимые права и тем содействует его развитию, его движению вперёд.

Достоевский внимательно слушал, глядя то на Петрашевского, то на Момбелли.

— Допускаю действительность твоих опасений и полагаю, что они устраняются временной диктатурой, — обратился к Петрашевскому Спешнев.

— Я против любого диктатора! — возразил ему вдруг запальчиво Петрашевский. Момбелли он отвечал спокойно, несмотря на то, что тот говорил петушком. — Я первый бы поднял на него руку!

— Но есть иная диктатура! — спокойно произнёс Спешнев ему в ответ. — Диктатура угнетённых!

Достоевский перехватил внимательный, чуть прищуренный взгляд Черносвитова на Спешнева.

— Беда нам, русским, — как-то задумчиво вмешался в разговор Черносвитов. — К палке мы очень привыкли. Она нам нипочём.

— Палка-то о двух концах, — ответил Спешнев.

— Это так! — согласился Черносвитов. — Да другого-то конца мы сыскать не умеем.

— Ничего, съедем! — уверенно ответил ему Спешнев.

— До всего можно дойти путём закона, путём реформ, — сдержанно произнёс Петрашевский. — Реформы судопроизводства не следует требовать! Нужно всеподданнейше просить об этом.

— Так к нам и прислушались, — по-прежнему горячо возразил Момбелли и спросил: — Мало ли вы просьб написали?

— Правительство и отказавши, и удовлетворивши просьбу поставит себя в худшее положение, — невозмутимо ответил ему Петрашевский. — Отказавши — вооружит людей против себя, а идея наша будет идти вперёд.

— А ежели исполнит?

— Этим оно ослабит себя и даст возможность требовать другие реформы, и снова наша идея идёт вперёд.

— Только всеподданнейшими просьбами мы не уйдём вперёд! — взволнованно вступил в разговор студент Филиппов. — Нужно действовать! Власть даётся только тому, кто посмеет поклониться и взять её. Тут одно только, одно: стоит только посметь!

— Отто-так! Кто много посмеет, тот и прав, — поддержал его Черносвитов. — Кто на большее может плюнуть, тот и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее!

— Николай Александрович, вы поосторожней с Черносвитовым, — шёпотом обратился Достоевский к Спешневу. — Мне кажется, он шпион. Слишком он остро говорит всегда...

— Бросьте вы, всё вам шпионы мерещатся, — улыбнулся Спешнев в ответ. — Насмотрелся человек на мерзость самодержавную, вот и говорит...

— Я и предлагаю действие! — ответил Филиппову Петрашевский. — Не поднимать же восстания, когда общество не готово к нему.

— Надо готовить!

— Нельзя предпринимать восстания, не будучи уверенным в совершенном успехе, — назидательно возразил студенту Петрашевский.

— Надо усиливать пропаганду! — снова заговорил Момбелли. — Невежество нашего царя-богдыхана и его министров не даёт надежды ни на какие нововведения.

— Прежде надо изменить правление, нужна конституция, которая дала бы свободу крестьянам, открытое судопроизводство, свободу книгопечатания, — всё так же мирно, но уверенно произнёс Петрашевский.

— Что же нам делать для этого? — тихо спросил Антонелли.

— Надо нам стараться производить переворот убеждением, — ответил поручик Григорьев. — Я уверен, что всё зависит от народа, без него мы не продвинемся, не уйдём вперёд.

— А нам что делать? — допытывался Антонелли.

— Надо нам сблизиться с народом! — продолжил Григорьев. — Для этого искать встречи с простыми людьми, говорить с ними...

— Первое, с чего нужно начать, — снова заговорил Петрашевский, — это распространять наши взгляды в своём кругу. Надо перетягивать на свою сторону людей разных сословий, людей специальных познаний: учёных, архитекторов, ремесленников, писателей, военных, взять в свои руки университет, Лицей, военные училища и гимназии.

— Как же это сделать? — не отставал Антонелли.

— Для этого все мы должны вести жизнь деятельную, составлять кружки и действовать не по случаю, а систематически...

— Господа! Прошу внимания! Кто из вас скажет, что это такое? — показал на своей ладони кусочек неопределённого вещества, в составе которого заметна солома, мякина, какая-то шелуха.

Филиппов взял двумя пальцами кусочек, повертел его, понюхал, потом, безразлично морщась, возвратил кусочек поручику.

— Это же конский помёт! — фыркнул он. — Мы о серьёзном судачим, а ему лишь бы шутки шутить!

— Нет, господа, это не шутки! — сердито ответил Момбелли. — Этот навоз — хлеб! Этим хлебом питаются крестьяне Витебской губернии. В его составе вовсе нет муки. Одна мякина, солома да какая-то трава...

— Не может быть! — воскликнул Антонелли.

— Надо бы нашего чадолобивого императора на несколько дней посадить на пищу витебского крестьянина! — негодуя воскликнул Момбелли.

— Фёдор Михайлович, у меня к вам разговор есть, — тихонько обратился к Достоевскому Спешнев. — Не могли бы вы заглянуть ко мне в воскресенье часиков в двенадцать?

— Хорошо. Я приеду!

Достоевский потихоньку поднялся и подошёл к Петрашевскому, а Черносвитов тут же пересел на место Достоевского к Спешневу.

— Михаил Васильевич, не пора ли чаю подать? — обратился Достоевский к Петрашевскому.

— Чай готов. Доспорим и перейдём, — ответил Петрашевский.

А Черносвитов заговорил со Спешневым:

— Вы, видимо, знаете: я человек приезжий. Живу в Сибири. В Петербурге ненадолго... Меня вот что интересует, Николай Александрович. Не верится мне, что в России нет тайного общества.

— Почему так? — спросил Спешнев.

— Пожары 1848 года! Отчего? Бунты в низовых губерниях. Не существует ли в Петербурге тайного общества? Нет ли его в гвардии?

— О гвардии я судить не берусь, — ответил Спешнев.

— А в Петербурге?

— Рафаил Александрович, разве можно назвать общество тайным, если оно явное для всех? — улыбнулся Спешнев.

— Понимаю, понимаю, — засмеялся в ответ Черносивитов. — Простите за назойливость!

Черносивитов поднялся, сильно хромая, пошёл к книжному шкафу, достал одну книгу и открыл её. К нему подошёл Петрашевский.

— Интересуетесь?

— Хотелось бы посмотреть, пока время есть. У вас, говорят, можно брать с собой?

— Это можно.

— А какая цель у ваших собраний?

— Пропаганда социальных идей.

— Идея — хорошо, но надо делать. Ведь есть, видимо, тайное общество?

— Нет никакого общества...

— Меня-то бы мог принять в тайное общество.

— Я враг всяких тайных обществ.

— Но, Михаил Васильевич, действуя таким образом, не принося никакой пользы, можно погибнуть...

— От распространения идей — большая польза!

— В числе ваших знакомых есть люди с тёплой душой — Спешнев, Достоевский. Давайте потолкуем. Ум хорошо, а два лучше, может, вы отстанете от своего взгляда. Пригласите их в кабинет.

— Хорошо, потолкуем, когда закончим.

После того, как гости поужинали, выпили вина и стали расходиться. Петрашевский пригласил в свой кабинет Достоевского, Спешнева и Черносивитова.

Когда они остались вчетвером, изрядно подвыпивший Черносивитов заговорил с раскрасневшимся лицом:

— Мы сделаем смуту! Мы сделаем такую смуту, что всё поедет с основ.

— А надо ли, чтоб всё ехало с основ? — спокойно спросил Петрашевский.

— Вы боитесь, вы не верите, вас пугают размеры?

— Угадали.

— Нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Но вы-то — гений вроде Фурье; но смелее Фурье, сильнее Фурье...

— Эх вы хватили! — усмехнулся Петрашевский.

— Как вы сделаете смуту? — спросил Спешнев.

— Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны! Мы проникнем в самый народ. Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над Богом, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он разврате своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши.

— Это с ними вы хотите сделать смуту? — удивился Петрашевский.

— Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! — продолжил, не отвечая, Черносивитов. — Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмём?

— Народ не так прост, — покачал головой Петрашевский.

— Разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в людях идею о Боге, — вставил Спешнев. — Вот с чего надо приняться за дело!

— В русском народе до сих пор нет цинизма, хоть он и ругается скверными словами, — возразил ему Достоевский.

— Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: “двести розог или тащи ведро”, — нервно заговорил Черносивитов. — Русский бог уже спасовал пред “дешёвкой”. О, дайте, дайте, возрасти поколению!

— И вы рады этому? — с некоторым ехидством спросил Петрашевский.

— Вы думаете, я этому рад? — страстно обратился к нему Черносивитов. — Когда в наши руки попадёт, мы, пожалуй, и вылечим... Если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего надо! А тут ещё свеженькой кровушки подпустить, чтоб попривык.



Петрашевский в ответ засмеялся.

— Чему вы смеетесь? — удивлённо спросил Черносвитов.

— Уж больно вы фантастически завернули. Даже кровушки захотелось.

— Раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал... — продолжил страстно Черносвитов. — Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...

— Если в России бунт начинать, то непременно, чтоб с атеизма, — вставил Спешнев. — И всё к одному знаменателю — полное равенство. Каждый принадлежит всем, а всё — каждому.

— Отто-так! Хорошо сказано, — согласился, успокаиваясь, Черносвитов..

— Значит, все рабы и в рабстве равны? — спросил с сарказмом Петрашевский.

— Отто-так!

— А как же образование, науки? — обратился к Спешневу Достоевский.

— Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов, — спокойно и убеждённо, как о давно решённом деле, ответил Спешнев. — Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы.

— Отто-так! — воскликнул Черносвитов. — Цицерону отрезывается язык, Копернику выкальвают глаза. Шекспир побивается камнями.

— Всякого гения надо тушить в младенчестве, — подтвердил Спешнев.

— И далеко вы уйдёте без науки и образования? — с нескрываемым ехидством спросил Петрашевский.

— И без науки хватит материалу на тысячу лет, — невозмутимо ответил Спешнев. — Надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает — послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Необходимо лишь необходимое.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ У СПЕШНЕВА

В воскресенье, как и договаривались, Фёдор Михайлович пришёл к Спешневу, намереваясь попросить у того денег в долг, чтобы выкупить из дома свиданий девушку Союю и расплатиться со всеми накопившимися долгами. Спешнев встретил его радушно и повёл к себе в кабинет, говоря на ходу:

— Пока накрывают стол, мы побеседуем немного в моём кабинете, а потом продолжим разговор за чаем.

Они вошли в кабинет, и Спешнев указал рукой на кресло, приглашая сесть. И сам сел напротив.

— Фёдор Михайлович, я не буду церемониться, свои люди, начну с деликатного вопроса.

— Конечно, конечно, Николай Александрович!

— Пригласил я вас не только, чтоб побеседовать о важном общем деле... Да и просто побеседовать, согласитесь, приятно с умным человеком... У меня к вам одно деликатное дельце, хочу сразу покончить с ним.

— Я готов... содействовать, что в силах...

— Это вам будет несложно. Я прошу вас не обижаться на Филиппова, он проговорился, что вы сейчас... в некотором роде, в затруднительном финансовом положении...

— Это он зря сказал! — пробормотал Достоевский, но в душе порадовался, что не ему придётся начинать этот разговор.

— Не сердитесь на него, он вас любит. Я, как вам известно, свободен в средствах, и для меня ничего не стоит одолжить вам пятьсот рублей...

— Благодарю вас... Впрочем... Ну да... — забормотал, смущаясь, Фёдор Михайлович. — Меня охотно печатает и Некрасов в "Современнике", и Краевский в "Отечественных записках", сейчас я пишу большую повесть, и роман замыслил, надеюсь, со временем верну вам долг.

— Не заботьтесь вы об этом, Фёдор Михайлович! Я в деньгах никогда не нуждался. Прошу вас, дайте мне честное слово, что вы никогда мне не напомните о вашем долге.

— Я не могу взять денег без заёмного письма.

— Заёмное письмо приму, но о долге никогда не поминайте... Дайте честное слово, иначе обидите...

— Даю слово!

— Вы вроде бы хлопчете о месте горничной для вашей знакомой. Сколько ей лет?

— Восемнадцать!

— Совсем юная... Это хорошо. Княгиня Волконская ищет горничную.

— Княгиня? — воскликнул с удивлением Достоевский.

— Да... А что такое?

— Она хотела... О таком она даже не мечтала... Да и я...

— Надеюсь, она не разочарует княгиню?

— Что вы!.. Что вы!.. — засуетился радостный Достоевский. — Она будет счастлива и вечно вам благодарна за такое место!

— Человек — существо неблагодарное. Через год забудет... Примет как должное.

— Не все же такие?

— Все-все! Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в порознь, как отдельных лиц. В мечтах я нередко доходил до страстных помыслов о служении человечеству... А между тем я двух дней не в состоянии прожить ни с кем в одной комнате, о чём знаю из опыта.

— Вы наговариваете на себя, Николай Александрович! Всего три минуты назад вы, сами не знаете, как выручили меня. А я ведь даже не просил у вас денег. Сами предложили, как я понимаю, из-за любви к ближнему.

— Может быть, я с каким-то тайным умыслом помог вам... — с небольшой усмешкой засмеялся Спешнев.

— Скажете, хлопотали о месте горничной моей знакомой тоже с тайным умыслом? Кто же в это поверить?

— Что касается любви к ближнему, то я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо своё — пропала любовь.

— Неужто вы так не верите в жизнь? Это ужасно!

— Не веруй я в жизнь, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, а я всё-таки захочу жить, и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!

— Разве можно понять такое сочетание, — удивился Достоевский, — отчаянный взгляд на ближнего и жажда жизни?

— Я спрашивал себя много раз, — заговорил задумчиво Спешнев. — Есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступлённую и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого.

Спешнев умолк. “Не для этого же разговора пригласил он меня к себе, — подумалось Достоевскому. — И про моё бедственное положение с деньгами он тогда не знал. Ведь разговор с Филипповым был после его приглашения”.

Николай Александрович, словно прочитал мысли Достоевского, заговорил:

— Пригласил я вас, Фёдор Михайлович, совсем для другого разговора... Мы уже фактически составили тайное общество, подготовили тайную типографию. И я рад, что вы с нами... Я ещё за границей набросал вот этот текст, — показал он истрёпанный лист. — Это заявление о вступлении в такое общество. Посмотрите, — протянул он лист Достоевскому. — Это проект. Вы можете его поправить...

Достоевский взял лист и стал читать про себя: “Я, нижеподписавшийся, добровольно, в здравом размышлении и по собственному желанию, поступаю в Русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду:

1. Когда Распорядительный комитет общества, сообразив силы общества, обстоятельства и представляющийся случай, решит, что настало время бунта, то я обязываюсь, не щадя себя, принимать полное и открытое участие в восстании и драке, то есть что по извещению от комитета обязываюсь

быть в назначенный день, в назначенный час в назначенном мне месте, обязываюсь явиться туда и там, вооружившись огнестрельным или холодным оружием, принять участие в драке и как только могу споспешествовать успеху восстания.

2. Я беру на себя обязанность увеличивать силы общества приобретением новых членов. Впрочем, согласно с правилами Русского общества, обязываюсь сам лично больше пятерых не аффилировать.

3. Аффилировать, то есть присоединить к обществу новых членов, обязываюсь не наобум, а по строгом соображении, и только таких, в которых я твёрдо уверен, что они меня не выдадут, если б даже и отступились после от меня; что они исполнят первый пункт и что они действительно желают участвовать в этом тайном обществе. Вследствие чего и обязываюсь с каждого мною аффилированного взять письменное обязательство, состоящее в том, что он переписет от слова до слова сии самые условия и подпишет их. Я же запечатанное его письменное обязательство передаю своему аффилтору для доставления в Комитет, тот — своему, и так далее. Для сего я и переписываю для себя один экземпляр сих условий и храню его у себя, как форму для аффилиации других”.

Фёдор Михайлович прочитал и взглянул на Спешнева, который молча ждал, разглядывая лицо Достоевского во время чтения.

— Ну как? — спросил Спешнев, стараясь не выказывать своего нетерпения.

— Нужно подредактировать... — задумчиво проговорил Достоевский и, вздохнув, добавил: — Сделать яснее и проще.

— Я верил, что вы согласитесь! Я верил в вас! — заключил Спешнев.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ

Достоевский сразу же после посещения Спешнева с его деньгами в кармане помчался в публичный дом, чтобы выкупить Соню и сказать ей, что она может стать горничной даже не в номерах, а у княгини Волконской. Правда, для этого ей нужно будет поменять жёлтый билет на обычный паспорт. Но это несложно. Можно сделать за неделю. За это время синяки с её молодого лица сойдут. Но он не знал, что шулер его опередил всего на полчаса.

В то время, когда Достоевский, счастливый, брал извозчика, шулер в комнате хозяйки публичного дома Лемке протягивал ей ассигнации:

— Вот тебе тридцать сребреников за Соню, старая карга!

Лемке невозмутимо и молча пересчитала деньги.

— Можно забирать? — нетерпеливо спросил шулер.

— Иди, молодой козёл, забирай свою шлюху... — пробормотала Лемке удовлетворенно.

Шулер, весело посвистывая, взбежал по лестнице на второй этаж. Шёл по коридору, так же посвистывая, остановился возле двери с цифрой “5” и, постучав в неё дважды, распахнул дверь ногой.

Соня сидела на стуле возле окна и вышивала на пальцах. Синяки у неё под глазами стали немного бледнее.

— Собирайся! — бросил весело шулер.

— Куда?

— Я тебя выкупил. Собирайся!

— Я с тобой не пойду! — ошаршила его Соня, оставаясь сидеть у окна.

— Я деньги заплатил твоей старухе! — возвысил голос шулер.

— Забери назад! — кротко и спокойно ответила Соня.

Достоевский остановил извозчика возле публичного дома и, довольный предвкушением встречи с Соней, представляя, как обрадует её, бодро и весело выскочил из саней и направился к двери. Перед самым его носом вдруг распахнулась дверь, из публичного дома выскочил взбудораженный шулер и бросился бегом по улице.

Достоевский растерянно проводил его взглядом и быстро вошёл в прихожую. И первое, что услышал он и увидел, это то, как возбуждённый швейцар кричит хозяйке дома:

— У него руки в крови!

Хозяйка и швейцар бросились к лестнице на второй этаж, Достоевский — за ними. В коридоре Фёдор Михайлович обогнал толстую хозяйку и неуклюжего швейцара и распахнул дверь в комнату Сони.

Там на полу лежала окровавленная Соня. Достоевский кинулся к ней, поднял с пола на руки и крикнул в сторону швейцара и Лемке, остолбеневших в двери.

— Доктора!

Швейцар тут же убежал за доктором.

Достоевский осторожно опустил Соню на кровать. Она что-то хотела сказать ему, но только хрипела. Из рта у неё текла кровь.

— Соня, Соня, не умирай! Я деньги принёс! Я тебя возьму отсюда.

Соня медленно подняла руку к лицу Достоевского, коснулась слегка его щеки, хотела что-то сказать, но рука её беспомощно упала на постель, потом по инерции безжизненно свесилась с кровати. Одновременно голова Сони как-то вяло откинулась и медленно стала сползать по подушке. От увиденного и пережитого лицо Достоевского перекошилось, потемнело в глазах. Он захрипел, упал на пол тут же возле кровати и начал биться головой о доски пола.

Лемке бросилась к нему, попыталась удержать в руках его голову. Из рта у него шла ужасная пена.

В этот же воскресный день министр внутренних дел Перовский встретился с генерал-майором Липранди, который принёс ему новую папку с материалами о кружке Петрашевского. Перовский с интересом просматривал доклад агента, слушая Липранди.

— Пришла пора докладывать Его Императорскому Величеству о кружке Петрашевского. Как видите, агент подробно описал последнее заседание кружка, на котором литератор Достоевский читал возмутительные письма Белинского к Гоголю...

— Я читал эти письма... И что? — спросил Перовский. — Думаю, что и Третье отделение хорошо знакомо с ними.

— После чтения были не только возмутительные речи, но и прямой призыв к бунту против государя, — вкрадчиво ответил Липранди.

— Достоевский — это тот литератор, который написал роман “Бедные люди”? — осведомился Перовский.

— Он самый.

— На месте графа Орлова я бы сразу после этого романа приказал назначить за ним тайное наблюдение... — спокойно произнёс Перовский. — Значит, был призыв к бунту?

— Не только призыв, но и обсуждался план восстания. Говорилось, с чего начать, как организовать бунт. Там всё описано, — кивнул Липранди в сторону папки.

— Отлично! Я всё внимательнейшим образом прочитаю и доложу Государю.

Достоевский, ослабленный приступом эпилепсии, забрёл поужинать в трактир. Он не хотел заказывать спиртного, но, потрясённый убийством Сони, в смерти которой винил себя, Фёдор Михайлович всё-таки попросил полового принести ему не вина, которое он обычно пил, а полуштоф водки. Удивлённый таким заказом Сенька принёс полуштоф и налил водки в стакан. Достоевский выпил и обхватил голову руками. Перед глазами его всё стояла откиннутая на подушке голова Сони с окровавленными губами. “Что она мне хотела сказать? — думал он мрачно. — Я предал её, предал!” Он не видел, как к его столу с косушкой в руке подошёл пьяненький бывший чиновник Мармеладов с отёкшим от постоянного пьянства лицом и с припухшими веками. Одет он был в оборванный фрак, на котором осталась лишь одна пуговица. Достоевский обратил на него внимание и поднял голову только после того, как тот заговорил, обращаясь к нему:

— Осмелюсь ли, милостивый государь, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Я — Мармеладов, титулярный советник.

Достоевский глянул на него, сдвинул на столе в сторону тарелки с остатками еды, свой полуштоф, освобождая место для косушки и стакана Мармеладова.

Тот пьяно опустился на стул напротив Достоевского.

— Вы, сударь, не презирайте меня: у нас в России пьяные люди — самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные.

Достоевский молча, рукой подозвал пологого. Тот быстро подошёл к их столу.

— Поесть ему принеси, — приказал Достоевский.

Когда половой убежал на кухню, Фёдор Михайлович налил в стаканы из своего полуштофа и кивнул Мармеладову на его стакан. Тот взял и, не чокаясь, быстро выпил, схватил с тарелки хлеб, понюхал его и положил обратно. Достоевский отпил из своего стакана.

— Бедность не порок, милостивый государь, — заговорил Мармеладов. — Но нищета — порок-с. За нищету метлой выметают из компании человеческой. Я вот уже пятую ночь ночую на Неве, на сенных барках, среди нищих и бродяг!

Половой принёс тарелку с едой и поставил перед Мармеладовым. Тот взял вилку и начал жадно есть, при этом говоря:

— Знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки жены своей пропил, а живём мы в холодном углу, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас двое. И дочь на выданье. Детишки по три дня корки не видят! Как бы дочери на панель не попасть...

— А я человека убил... — с тоской в голосе произнёс Фёдор Михайлович.

Мармеладов перестал есть, посмотрел с удивлением и страхом на Достоевского.

— Иного человека... — пробормотал он. — Сам Господь велел...

— Господь заповедал: не убий!.. Не я убил, не я...

— За что же... такая маета?

— Я мог спасти... И не спас... Не спас...

Такая тоска чувствовалась в его голосе, что Мармеладов взял недопитый стакан с водкой Достоевского и протянул ему, приговаривая дружелюбно и доброжелательно:

— Ты выпей, выпей... Маета пройдёт...

Достоевский быстро выпил остатки водки, закашлялся, потом медленно выговорил:

— Каждый человек несёт ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ВСЁ РЕШЕНО

Император Николай принял министра Перовского с докладом в понедельник утром. Одним из последних текущих дел в докладе министерства внутренних дел было дело Буташевича-Петрашевского.

— И ещё одно неприятное дело, — доложил Перовский, пододвигая по столу к императору папку с донесениями агента. — Мои люди выявили тайное общество под руководством дворянина Буташевича-Петрашевского.

Император Николай взял папку и открыл её.

— Цель общества? — спросил он.

— Подготовка восстания.

— Это дело Третьего отделения, почему не передали? — строго спросил император.

— Мои люди случайно вышли на это сборище, — почтительно ответил Перовский. — Думали, дело уголовное. Внедрили агента. А там... Собрали материал... Посмотрите!

— Передам графу Орлову.

— Ваше Величество, позвольте мне ещё некоторое время последить за поведением этих заговорщиков, и я обещаю доложить Вашему Величеству не только об их разговорах, но и о мечтах, грезящихся им во сне.

— Посмотрю и решу!

Достоевский и Момбелли встретились в этот день в Летнем саду, встретились по просьбе Фёдора Михайловича. Ему не давали покоя слова Майкова о том, что к ним внедрён шпион. Кто этот человек? Внедрён он в кружок Петрашевского? Или он посещает и тайное общество Спешнева?

Момбелли удивил болезненный вид Достоевского, и он сразу же после приветствия спросил у него:

— Что-то вы, Фёдор Михайлович, мрачны в последние дни. Тяготит что-то?

— Неладно у меня всё идёт... — вздохнул Фёдор Михайлович. — Неладно...

— Не грустите! — посочувствовал Момбелли. — *Всё проходит. И это пройдёт.*

— Не пройдёт! У меня теперь есть свой Мефистофель...

— Вы о Спешневе?

— Почему вы догадались? — спросил Достоевский, удивляясь прозорливости Момбелли.

— Вы подписали Заявление о вступлении в Русское общество? — спросил тот напрямик.

— Пока нет. Но я его читал...

— Подпишите?

— Подпишу!

— Вы его внимательно читали? Всё принимаете? — допытывался Момбелли.

— Принимаю. Теперь я с ним до конца.

— Я тоже подпишу. Я ведь пытался ещё до него создать своё общество... Не получилось...

— Почему? — поинтересовался Достоевский.

— Мне Спешнев разъяснил, почему. Он сказал: “Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются? Всё это чиновничество и сентиментальность — всё это клейстер хороший, но есть одна штука ещё лучше...”.

Момбелли умолк. Некоторое время они прогуливались молча.

— Он пояснил, что это за штука? — не выдержал паузы Достоевский.

— Да... Говорит: “Подговорите четырёх членов кружка ужокошить пятого, под видом того, что тот донесёт, и тотчас же вы их всех пролитую кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчётов спрашивать”.

— И вы согласились?

— Сначала страшно стало, а потом подумал: “А ведь он прав!” Не будет тесного сплочения, не победит нашему восстанию...

— А я вот что думаю, — сказал Достоевский. — Допустим, восстание победило. Власть в наших руках, а дальше что?

— А дальше свобода, все равны! Конец самодержавия! — воскликнул Момбелли.

— Люди не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики, — возразил Достоевский.

— Неправда, человек рождён быть свободным.

— Какая свобода? Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем поклониться. Так было всегда!

— Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть людей для их счастья. Эти силы — чудо, тайна и авторитет.

— Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твёрдого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле.

— Мы заставим людей работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками.

— А куда денется порок?

— О, мы разрешим им и грех, люди слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — всё, судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — всё, всё понесут они нам, и мы всё разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. Они будут свободны!

— Разве это свобода? Разве нужен бунт ради такой свободы? Посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни, безбожные и глупые, не понимаем, что жизнь есть рай, стоит только нам захотеть это понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей...

“Нет, — решил Достоевский после этой встречи. — Момбелли — революционер-романтик, чудаки, но не шпионы!”

Император Николай после встречи с министром Перовским вызвал руководителя Третьего отделения графа Орлова. Императора возмутило то, что тайная полиция так плохо работает, что упустила из виду тайное собрание, о котором знает весь Санкт-Петербург. Николай стоял у окна, смотрел на заснеженную площадь, когда его адъютант доложил:

— Граф Орлов, Ваше Величество!

Император кивнул. Адъютант скрылся за дверью, а вместо него появился граф Орлов в парадном мундире с орденами и звёздами, кучерявый, как всегда, и седоусый.

— Здравия желаю, Ваше Величество! — бодро поприветствовал он императора.

Николай протянул ему навстречу руку. Орлов почтительно пожал её. По тому, что император не ответил на его приветствие, граф понял, что Николай чем-то озабочен и не доволен им.

— Что вы знаете о дворянине Буташевиче-Петрашевском? — хмуро спросил император.

— Господин Петрашевский месяц назад подал в петербургское дворянское собрание записку, в которой предлагает учредить кредитные земские учреждения, земельные банки, понизить проценты по залогоу имений в казённых кредитных установлениях, улучшить формы судопроизводства и надзор за администрацией, — услужливо ответил граф Орлов, понимая, что не этого ответа от него ждёт государь.

— А что вы знаете о его тайном обществе?

— Вы имеете в виду его пятницы? Мои люди были у него. Там одни беседы... Господин Петрашевский противник тайных обществ. Вход к нему свободный.

Император быстро подошёл к столу, взял папку Перовского и протянул графу.

— Ознакомьтесь с донесениями агента министра Перовского.

Граф Орлов взял папку и заговорил учтиво:

— Я уверен, господин Перовский, чтобы возвысить своё ведомство, наговорил всякого вздора. Дело это совсем не так значительно. Я убеждён, что не надо разукрашивать его особенно в глазах иностранцев. Если принять некоторые патриархальные меры против главных вождей, можно прекратить дело без шума и скандала.

— Ознакомьтесь и арестуйте всех, кто в списке, — строго приказал Николай. — Всех, кто бывал у Петрашевского! И тихо, без шума! Слишком много там детей важных особ.

Достоевский, возвращаясь домой после встречи с Момбелли, увидел Антонелли возле подъезда своего дома. Тот стоял, облокотившись о парапет

набережной, и, судя по всему, явно поджидал его. Антонелли был мелким чиновником в министерстве иностранных дел, где служил Петрашевский, был не особенно-то активным и заметным членом кружка Петрашевского и никогда не претендовал на близкие отношения с Достоевским. Поэтому Фёдор Михайлович удивился, увидев его возле своего подъезда. Антонелли встретил его с улыбкой.

— А я вас повсюду ищу, — проговорил он, когда Достоевский подошёл к нему.

— Меня? Зачем?

— Хотел пригласить вас к себе. Завтра у меня наши собираются... — слишком любезная и заискивающая улыбка и тон голоса Антонелли показались Достоевскому подозрительными. Почему малознакомый человек приглашает его к себе?

— К сожалению, не могу быть, у меня будут гости, — отказался он.

— Так нельзя ли и с гостями вашими? Отложите свой вечер... — предложил Антонелли.

Достоевский внимательно посмотрел в лицо Антонелли. Тот отвёл глаза.

— Я не могу отложить, у меня приглашены гости... — сказал Достоевский и добавил: — И потому, что я живу на Васильевском острове, и ежели чрез несколько дней разведут мосты, то я не в состоянии буду проститься перед их отъездом с добрыми знакомыми.

— Вы можете предупредить приглашённых вами, — настаивал Антонелли. — Вероятно, все ваши гости — общие знакомые, бывают у Петрашевского.

— Кроме моих гостей, будут гости моих товарищей, а из общих знакомых будут весьма немногие.

— Кто из них будет?

— Будут Григорьев, Плещеев, Момбелли, Дуров и вы, ежели сделаете мне честь посещением, — Фёдор Михайлович решил пригласить к себе Антонелли, чтобы поближе узнать, что это за человек.

— Кто ещё будет у вас?

— Будет мой брат, которого вы как-то видели.

— А из гостей ваших товарищей?

— Будет один господин, хотя и светский, но служащий в духовном ведомстве, человек не без влияния на своём месте.

— Благодарю вас, я приеду. До завтра!

Антонелли попрощался за руку с Достоевским и быстро, не оглядываясь, пошёл по набережной.

Достоевский проводил его взглядом и направился ко входу в подъезд.

“А если Антонелли шпион?” — подумалось вдруг ему.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ АРЕСТ

Достоевскому не спалось. Мысль о том, что Антонелли шпион, не давала ему уснуть. Он лежал под одеялом с открытыми глазами и думал о нём. Ему вспомнилось, с каким вниманием и напряжением смотрел Антонелли на поручика Момбелли, когда тот после чтения письма Белинского Гоголю вдруг в споре заявил, что нужен бунт для освобождения крестьян.

Достоевский нервно повернулся в постели на бок.

Вспомнилось, как тогда Антонелли спросил у Момбелли: “Как можно достичь этого?” — и Момбелли простодушно ответил: “Только с помощью бунта можно освободить крестьян”.

Перед мысленным взором Достоевского явственно всплыла картина, как, когда в кабинете Петрашевского уединились четверо: Петрашевский, Спешнев, Черносвитов и он, — в открытой двери кабинета боком к ним стоял Антонелли и делал вид, что разговаривает с молодым офицером.

Достоевский взволнованно сел на кровати. “Да, точно! — подумал он. — Антонелли — шпион!”



Решив для себя эту загадку, Достоевский лёг на кровать и укрылся одеялом. “Надо завтра срочно сказать всем об этом!”

Подумалось вдруг, что он напрасно посчитал шпионом поручика Григорьева, вспомнилось, как они обсуждали “Солдатскую беседу”, которую Григорьев, как только закончил писать, показал Достоевскому.

Фёдор Михайлович прочитал рассказ поручика, считал его удачным, талантливым и горячо советовал писать о солдатской службе, как можно больше писать. Настоящая жизнь русского солдата ещё никем не описана. И теперь Достоевский вспоминал разговор, думал о рассказе. Как здорово вышел у Григорьева старый солдат: как живой перед глазами стоит. Кажется, слышишь слова его: “Нет, братцы, знать, царь-то наш не больно православных русских любит, что все немцев к себе берёт. Куда ни оглянешься, ан все немцы: и полковые командиры немцы, да и полковники-то все немцы, а уж если и выберется из русских, так уж и знай, что с немцами всё якшался, оттого и попал в знать, что грабить нашего брата больно наловчился; ах, они мерзавцы! Ну, да погоди ещё! И Святое Писание гласит: *первые будут последними, а последние первыми!*” И ведь точно как: некуда приткнуться русскому человеку, если немец тебя не поддержит...

Думая так, Фёдор Михайлович заснул. Но, кажется, недолго спал. Сквозь сон почувствовал какое-то движение в комнате, показалось, вошли какие-то подозрительные люди. Непонятно было, то ли сон это, то ли явь. Брякнуло что-то, и Достоевский испуганно открыл глаза, поднял голову над подушкой и услышал негромкий мягкий голос в полумраке:

— Вставайте!

Произнёс это офицер. Рядом с ним Фёдор Михайлович разглядел знакомого частного пристава с пышными бакенбардами. Около двери темнел ещё один человек, по-видимому, солдат.

— Что случилось? — спросил растерянно Достоевский, ничего не понимая спросонья. Ему казалось, что он спит, сон это.

Хотелось проснуться.

— Господин Достоевский Фёдор Михайлович? — вместо ответа так же мягко спросил офицер.

— Да...

— По повелению Его Императорского Величества вы арестуетесь...

Достоевскому показалось, что офицер говорит это с сожалением, и промелькнула вначале мысль, не шутка ли всё это. Фёдор Михайлович перевёл взгляд на пристава и понял: не шутка.

— Нам предписано произвести у вас обыск и доставить вас в Третье отделение, — закончил офицер.

— Позвольте же мне... — пробормотал Достоевский, и офицер перебил его предупредительно:

— Одевайтесь, одевайтесь. Мы подождём... — и взглянул на пристава.

Тот быстро и уверенно зажёл свечу и указал на печь солдату, по-прежнему стоявшему у двери:

— Начинай оттуда.

Солдат взял табурет, поставил его к печи. Брякая саблей, влез на него, ухватился за грядущку рукой, опёрся носком сапога о край гарнушки и заглянул на печь.

А пристав открыл книжный шкаф и стал выкладывать на пол книги.

Достоевский торопливо одевался, събдывая нижнего белья.

Офицер отвернулся от него, подошёл к письменному столу, где лежали книги, стопка чистой бумаги, начатая рукопись, взял наполовину исписанный листок, поднёс к своему лицу, прочитал вслух:

— Но мне стало так грустно от её внимания, так тяжело от её ласок, так мучительно было смотреть на неё, что я попросила, наконец, оставить меня одну. — И обернулся к Достоевскому: — Продолжение “Неточки Незвановой”? — спросил он с улыбкой.

Фёдор Михайлович суетливо натягивал брюки, путался в штанине. Услышав вопрос жандарма, ответил хрипло:

— Да...

Майор Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Чудинов получил вчера секретное предписание, в котором приказано было ему в четыре часа пополудни арестовать отставного инженер-поручика и литератора Фёдора Михайловича Достоевского, опечатать все его бумаги и книги и доставить в Третье отделение. Предписывалось строго соблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было сокрыто. Чудинов удивлён был сильно, когда получил эту бумагу. Имя Достоевского было знакомо ему. Читал его произведения. Нравились. Слышал, что автор — бывший офицер, совсем ещё молодой человек. И вдруг — злоумышленник! Горько стало. Хороший литератор. Но, может, чепуха какая, простой поклёп? Просмотрят бумаги да отпустят. Бывало такое.

Майор Чудинов, держа в руках листок, искоса, с любопытством разглядывал Фёдора Михайловича. Роста Достоевский был чуть ниже среднего, но широкоплечий. Светловолосый, конопатый, глаза, вероятно, чрезвычайно живые. Ишь, как по комнате мечутся.

Солдат вдруг оборвался с печи, грохнулся спиной на стул и загремел вместе с ним на пол, под ноги к Достоевскому. Фёдор Михайлович отскочил, от неожиданности споткнулся, чуть не упал. “Нервный!” — мелькнуло в голове офицера.

— Мать твою... — рявкнул пристав. — Растяпа!

Солдат, виновато морщась и потирая ушибленный бок, поднялся с пола.

— Ну, что там? — сердито спросил пристав.

— Ничего, — виновато развёл руками солдат.

Майор Чудинов не смотрел на них, читал листок.

— Позвольте узнать, — учтиво взглянул он на Фёдора Михайловича, — сколько частей будет в романе?

— Шесть...

— Видел я первую часть в “Отечественных записках”... Прочесть не успел, дела... Думал, выйдет весь роман, разом прочту. А “Белые ночи” читал, “Хозяйку” тоже... с душой написаны. Напрасно господин Белинский ругал повесть, напрасно... — говорил неторопливо Чудинов. Увидев, что Достоевский оделся, попросил:

— Позвольте письма ваши?

— Там, в столе, — кивнул Достоевский.

Он успокоился, смотрел с насмешкой, как пристав шарит его чубуком в печке, в золе.

Майор Чудинов выдвинул ящик стола и начал выкладывать письма. Нечаянно столкнул со стола старый погнутый пятиалтынный. Достоевский крутил его в руке всегда, когда писал, обдумывал слова и поступки героев романа. Монета глухо звякнула о деревянный пол, подпрыгнула и покатилась по полу. Солдат быстро нагнулся, поднял её. Пристав выхватил из рук солдата монету и стал разглядывать возле свечи.

— Уж не фальшивый ли? — усмехнулся Достоевский.

— Это, однако же, надо исследовать... — пробормотал пристав и сунул пятиалтынный в карман.

Офицер сложил письма, бумаги Достоевского, рукопись неоконченного романа в стопки и приказал солдату:

— Свяжи!

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ПЕТРАШЕВСКИЙ

Последние гости ушли от Петрашевского в три часа ночи. Михаил Васильевич, оставшись один, бродил по просторному кабинету, обдумывал статью, которую решил написать на основе своей речи, произнесённой сегодня. Речь вызвала споры, и теперь Петрашевский вспоминал возражения Дурова, Момбелли, Григорьева, продолжал спорить с ними мысленно и, когда приходила в голову особо интересная мысль, быстро подходил к столу и записывал.

Говорил он в этот вечер о том, как должны поступать литераторы, чтоб вернее действовать на публику. Жаль, мало народу пришло в этот вечер.

Из литераторов были только Дуров да Майков. Плещеев должен был поддержать, но и он не явился, хотя знал, что разговор должен пойти о литературе.

Петрашевский продолжал теперь спор в одиночку, теребил свою длинную бороду, стоя у стола, обдумывал, как точнее записать свои мысли.

Размышления прервал звон колокольчика. Михаил Васильевич недовольно поморщился: поздновато кто-то явился. Он вышел в коридор, открыл и увидел на лестничной площадке управляющего Третьим отделением генерала Дубельта с офицером в голубом и двумя жандармами.

— Ба, Леонтий Васильевич! — воскликнул Петрашевский, раскидывая руки, словно собирался обнять Дубельта. — Собственной персоной!.. Что же вы так поздновато, — укоризненно продолжал он, отходя вглубь коридора, чтобы пропустить жандармов. — Часика бы на три пораньше... Гости были. Я ведь, как вам известно, по пятницам принимаю...

— Господин Петрашевский? — строго спросил, входя, генерал. — Одевайтесь!

— По-моему, я одет, — оглядел себя Михаил Васильевич. После ухода гостей он переоделся в домашнее. — Ночью я иначе не одеваюсь!

— Вы не знаете, куда вас повезут...

— Догадываюсь, — перебил, усмехаясь, Петрашевский.

— ...и перед кем предстанете, — закончил Дубельт.

— Неужто перед самим... — с наигранным испугом поднял Михаил Васильевич глаза к потолку.

— Не паясничайте... Прошу одеваться!

— Тогда надо... тороплюсь, — двинулся Михаил Васильевич в комнату.

Генерал стал рассматривать книги, разбросанные по столу и по полкам. Петрашевский, увидев это, обратился к нему насмешливо:

— Леонтий Васильевич, ради бога, не смотрите этих книг!

— Почему же? — откликнулся Дубельт

— Потому что у меня, видите ли, есть только запрещённые сочинения.

При одном взгляде на них вам станет дурно.

— Почему же вы бережете такие книги?

— Это дело вкуса!

Дубельт сердито приказал:

— Обыскать!.. Все бумаги, письма, книги связать!

Петрашевский догадался, что генерал сердит потому, что ожидал, что появление его вызовет трепет, испуг, а его встретили с иронией.

— Леонтий Васильевич, — крикнул он из комнаты по-прежнему насмешливо, — не смогут жандармы приказ ваш выполнить! Книг у меня столько, что бечёвки не хватит.

Генерал ответил не сразу. Видимо, обдумывая ответ, он произнёс в тон Петрашевскому:

— Мы знали, куда ехали. Запаслись!

Обыск продолжался часа два. Бумаги и письма взяли с собой жандармы. Квартиру опечатали и вышли на улицу.

Утро было серенькое, туманное. Дождик перестал. Тихо. Фыркнула лошадь. У подъезда стояла карета. Кучер, дремавший на облучке, услышав шаги, стук двери, поднял голову и стал расправлять вожжи:

— На Фонтанку! К Цепному мосту, — бодро бросил ему Петрашевский и по-хозяйски, первым, полез в карету.

Жандармский офицер удержал его за локоть.

— Не торопись!

Пропустили вперед жандарма с двумя пачками бумаг. Потом офицер подтолкнул к двери Петрашевского.

В Третьем отделении поднялись в большой зал, где было многолюдно и всё знакомые лица: Достоевский, Момбелли, Дуров, все вчерашние гости, всего, наверное, десятка три будет, и между ними господа в голубых мундирах.

С удивлением увидел младшего из братьев Достоевских, Андрея. Петрашевский познакомился с ним, когда навещал Фёдора Михайловича, но у себя Андрея никогда не видел. Вероятно, взяли его по ошибке, вместо Михаила.

Возле одной двери столпилось несколько человек вокруг невысокого лысого чиновника, у него был какой-то список в руках.

Момбелли увидел вошедшего Петрашевского и энергичным жестом пригласил его к группе вокруг лысого чиновника. Достоевский тоже поманил к ним рукой Михаила Васильевича.

— Недосуг мне, господа, — громко ответил Петрашевский, снимая свою широкополую до нелепости шляпу и кланяясь. — Спать хочется зверски, вздремну малость.

Он расстегнул широкий плащ, устроился в кресле у окна и надвинул шляпу на глаза.

Напрасно не подошёл он к ним. Мог бы увидеть в списке, по которому лысый суетливый чиновник проверял арестованных, перед именем Антонелли надпись карандашом: “агент по найденному делу”. Но не узнал этого Петрашевский, и сказать ему не успели. Голубые мундиры вдруг засуетились, отводя арестованных, друг от друга, и замерли. В зал вошёл шеф жандармов граф Орлов. Вслед за ним — несколько офицеров, звеневших шпорами и сверкавших эполетами с золотым и серебряным шитьём. Орлов остановился. Лысый чиновник со списком суетливо подскочил к нему и что-то тихо проговорил.

— Сколько всего арестовано? — спросил Орлов.

— Тридцать четыре, ваше сиятельство.

Граф Орлов повертел в руке список и ступил два шага вперёд.

— Изволили, господа, незаконными делами заниматься? — строго спросил он, сердито оглядывая в тишине арестованных.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — громко произнёс Петрашевский, отодвигая пальцем шляпу на затылок.

Все разом повернулись к нему. Кто-то коротко хохотнул. Михаил Васильевич по-прежнему сидел в кресле и невинно глядел на графа Орлова.

— Встать! — рявкнул граф.

Один из жандармов подскочил к Петрашевскому, намереваясь силой поднять его, но Михаил Васильевич оттолкнул его и встал сам.

— Кто такой? — грозно глядел на него граф.

— Титулярный советник Михаил Васильевич сын Буташевич-Петрашевский, — спокойно ответил Петрашевский.

— А-а, главный возмутитель?! Что вы сейчас имели в виду? — сердито спросил граф.

— Вы о Юрьеве дне?.. Сегодня же двадцать третья апреля, Юрьев день... Это я имел в виду, — невинно развёл руками Петрашевский.

Граф Орлов отвернулся от него и уже без пафоса произнёс, что специальная комиссия произведёт строжайшее расследование всех поступков и намерений арестованных. Проговорив это, граф Орлов поспешно направился к выходу, словно опасаясь, как бы ещё какую насмешку не услышать в ответ. Офицеры зазвякали шпорами следом.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

— Господин Достоевский! — громко произнёс жандарм, появляясь в дверях комнаты, куда только что вошёл генерал Дубельт.

Фёдор Михайлович слегка вздрогнул, поправил жилет и откликнулся:

— Я здесь.

На мгновенье все примолкли.

— Прошу! — указал рукой на дверь жандарм.

В комнате генерал Дубельт сидел за столом. Худощавое лицо его с широкими усами, распустившимися по обеим щекам и слившимся с бакенбардами, было доброжелательным.

— Достоевский? — спросил Дубельт и, не дожидаясь ответа, указал на кресло.

Фёдор Михайлович осторожно опустился в кресло. Генерал наблюдал за ним с улыбкой, потом заговорил с ноткой сожаления в голосе:

— В числе прочих вам хорошо известных лиц вы арестованы как соучастник преступных намерений, направленных против могущества и спокойствия Российского государства. Следствие обнаружит во всей полноте степень вашего участия в сих намерениях, теперь же мы вынуждены препроводить вас для заключения в крепость... Поручик! — обратился он к стоявшему у окна офицеру. — Арестованного препроводить в Петропавловскую крепость.

Федор Михайлович поднялся. Встал и Дубельт.

— Сожалею, что и вы, господин Достоевский, среди этих... прочих... Сожалею... А могли бы послужить достойным образом отечественному просвещению...

Фёдор Михайлович, всплыв, перебил:

— Служил и служу... Как могу и нахожу нужным...

— Нужным-с? — переспросил с удивлением Дубельт. — Для кого же это нужно? Впрочем, я ещё буду иметь возможность услышать от вас объяснения насчёт ваших нужных поступков... Извольте следовать с поручиком...

Петрашевского поместили в камере номер один Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Выдали старый арестантский халат, большие туфли без задников, и теперь Михаил Васильевич, посвистывая, бродил по камере, разглядывал стены, койку с ветхим матрацем, стол, зарешёченное окно с закрашенными нижними стеклами, вентилятор. Подошёл к окну, потрогал пальцем отставшую от стены окраску, висевшую лоскутами. Услышав голоса за дверью, поднял голову, прислушался. Шаги в коридоре замерли возле двери его камеры. Донеслось позвякивание ключей, потом ключ заскрёбся в двери, звякнул засов. Первым вошёл комендант крепости Набоков, толстый пожилой человек в генеральском мундире, за ним — высокий одноглазый старик, подполковник, и бородастый надзиратель.

— Как устроились? Всё ли имеете? — быстро и нетерпеливо проговорил генерал. — Я комендант крепости!

Он, видимо, ожидал, что Петрашевский ответит, что ничего не требуется, как это отвечали другие, и готов был тут же повернуться и выйти, но Михаил Васильевич ответил быстро, стараясь говорить недовольным и раздражённым голосом:

— Как это всё? Ничего я не имею! Чем вы гостей уважаемых встречаете? Сами видите, — указал он рукой на стол, — пустота! Где мадера, спрашивается? А рябчик? Учтите, я люблю поджаристый, с корочкой!.. И насчёт самоварчика похлопочите... Пастилы, варенья крымского не забудьте!

Толстый генерал смотрел на Петрашевского изумлённо, даже чуточку рот приоткрыл.

— Шутить изволите, — только и нашёлся он, что ответить, повернулся и вышел из камеры.

Достоевского в первые мгновения в крепости бил озноб. Он, сторбившись, прижав руки к груди, бродил по камере, тихонько постанывал, вспоминал, как солдат туго перетягивал рукопись недописанной части романа. “Неужели всё! Неужели та голова, которая создавала, жила вышею жизнью искусства, неужели та голова срезана с плеч моих?”

В коридоре шум был, голоса, ходили люди, хлопали дверьми, звякали засовами, но Фёдор Михайлович не слышал их, бродил по камере, постанывал, дрожал. Очнулся, когда дверь открылась и вошёл сердитый толстый генерал с длинным одноглазым подполковником. Показалось — вошли Дон Кихот и Санчо Панса. Но Дон Кихот почему-то был на вторых ролях, жался за спину своего слуги, который пыжился, выпячивал вперёд живот и хмурил брови, чтобы казаться сердитым.

— Я комендант крепости! — выпалил, надуваясь, Санчо Панса.

“Ну-да, он комендант, — мелькнуло в голове. — Он очень хотел быть губернатором... Но он комендант”.

— Как устроились? Всё ли благополучно?

— Зябко, — пробормотал Достоевский. Всё, что происходило сейчас, казалось ему галлюцинацией.

Сердитый Санчо Панса взглянул на старого, потерявшего где-то глаз Дон Кихота.

— Немедленно затопите печи, чтоб больше на холод не жаловались!

И быстро направился к двери, словно опасаясь услышать просьбу, выполнить которую не в силах. Видно, Санчо Панса очень хотелось остаться в глазах Достоевского справедливым. Через мгновение дверь захлопнулась, и стало казаться, что в камеру никто не входил, — всё это плод воображения. Фёдор Михайлович, опасаясь припадка, сел на койку, сжал голову руками, посидел так, потом прилёг, кутаясь в халат. Мысли, тяжёлые мысли давили, давили на него, мучили: “Что ждёт меня впереди?.. Тюрьма, ссылка, одиночество, нищета, бесприютное пребывание среди чужих и неведомых мне людей, вдали от братьев и друзей — надолго ли? И где именно? В каких заброшенных людскими местами, в холоде и голоде? И как это всё я вынесу?.. Скорей бы! Скорей узнать всё, во всех подробностях... Когда же будет допрос?.. Неужели я никогда не возьму пера в руки? Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мной, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в голове разольётся! Да если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках...”

Несколько дней его не тревожили. Молчаливый надзиратель приносил еду и забирал грязную посуду. Один раз в день выводили гулять по двору. День ото дня становилось теплее. Ветер приносил с воли запахи моря, весны. Трава во дворе всё сильнее зеленела, покрывала землю, становилась гуще. Достоевский срывал тонкие стебельки, нюхал, вдыхал густой аромат весенней земли, зелени. Принёс с собой в камеру в кулаке траву и нюхал, наслаждался. Запах увядавшей травы становился ароматней.

Петрашевский тоже гулял по двору. Выводили по очереди. Никто друга друга не видел. Когда был ветер со стороны залива, Михаил Васильевич жадно вдыхал влажный морской воздух, улыбался, подставляя лицо ветру, который шевелил его густую бороду, слушал далёкий шум волн. Однажды он увидел лоскуток отлипшей от стены краски возле дорожки, вспомнил краску в своей камере под подоконником, висевшую лохмотьями, поднял лоскуток и взглянул на охранника, который выводил гулять. Солдат не следил за ним, откровенно охучал. Бежать арестанту некуда. Петрашевский покрутил лоскуток и выбросил.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ ПЕРВЫЙ ДОПРОС

Достоевского в первый раз привели в следственную комиссию дней через пять после ареста. Из пятерых, сидевших за столом, покрытым красным сукном, Фёдор Михайлович узнал управляющего Третьим отделением генерала Леонтия Васильевича Дубельта с его широкими распушившимися по щекам усами на бледном лице, толстого коменданта Петропавловской крепости генерал-адъютанта Ивана Андреевича Набокова, принятого им за Санчо Панса. Кроме них, за столом было ещё трое. Говорил, в основном, один из этих троих — лысый, бледный, седой, единственный в штатском платье, со звездой — член Государственного совета князь Павел Павлович Гагарин. Он говорил неторопливо, важно:

— Вы обвиняетесь в соучастии в тайном обществе господина Бугашевича-Петрашевского, которого главной целью было ниспровержение существующего порядка в государстве, пагубные намеренья относительно самой особы всемилостивейшего Государя Императора и замещение общественного устройства другим на основании социальных идей. К чему принято было приготовление умов распространением этих идей в России. На вопросы наши следует отвечать искренне... Что вас побудило познакомиться с Петрашевским?

— Знакомство наше было случайное, — ответил Достоевский. Слушал он, сидя перед комиссией, ссутулившись. За прошедшие тоскливые дни в

крепости Фёдор Михайлович продумал, как себя вести на допросе, приготовился. Главное, чтобы следственная комиссия поверила в искренность его раскаяния, в искренность его ответов. — Я был с Плещеевым в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты... Петрашевский с первого раза завлѣк моѣ любопытство. Мне показался он очень оригинальным человеком, но не пустым; я заметил его начитанность, знания.

— Часто вы посещали вечера его? — спрашивал по-прежнему только князь Гагарин.

— Вначале я бывал у Петрашевского очень редко. В последнюю же зиму стал ходить чаще...

— Сколько бывало людей на вечерах?

— Десять, пятнадцать и даже иногда до двадцати пяти человек.

— Охарактеризуйте нам Петрашевского как человека вообще и как политического человека в особенности.

Знал Достоевский, что об этом непременно спросят. И хорошо продумал ответ. Провокатор Антонелли, конечно, донѣс всё о Петрашевском. Он даже работал в одном департаменте с Михаилом Васильевичем. Потому комиссии теперь известны взгляды Петрашевского, кто посещал его вечера, то, что говорилось на них. Но не мог знать Антонелли отношений Фёдора Михайловича с Петрашевским, не мог.

— Я никогда не был в очень коротких отношениях с Петрашевским, — заговорил Достоевский, — но мне бывало иногда любопытно ходить на его пятницы. Меня всегда поражали эксцентричность и страстность в его характере. Я думаю, что за всё время нашего знакомства мы никогда не оставались вместе одни, глаз на глаз... Я слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, чем благоразумия. Действительно, очень трудно было объяснить многие из его странностей. Нередко при встрече с ним на улице спросишь: куда он и зачем? И он ответит какую-нибудь такую странность, расскажет такой странный план, который он шѣл только что исполнить, что не знаешь, что подумать о плане и о самом Петрашевском. Из-за такого дела, которое нуля не стоит, он иногда хлопочет так, как будто дело идѣт обо всем его имени. Другой раз спешит куда-нибудь на полчаса кончить маленькое дельце, а кончить это маленькое дельце можно разве только в два года. Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-нибудь занят. Читает много, уважает систему Фурье и изучил её в подробности. Кроме того, особенно занимается законовѣдением. — Достоевский умолк на мгновение и добавил: — Вот всё, что я знаю о нём как о частном лице. По данным, весьма неполным для совершенно точного определения характера, потому что, повторяю ещё раз, в коротких отношениях я с ним никогда не находился...

— А как политический человек? — переспросил князь Гагарин.

— А как политический человек... трудно сказать, чтоб Петрашевский имел какую-нибудь определённую систему в суждении, какой-нибудь определённый взгляд на политические события. Я заметил в нём последовательность в отношении только одной системы, да и то не его, а Фурье... Мне кажется, что именно Фурье и мешает ему смотреть самобытным взглядом на вещи. Впрочем, могу утвердительно сказать, что Петрашевский слишком далѣк от идеи немедленного применения системы Фурье к нашему общественному быту. В этом я всегда был уверен...

Всѣ это было так и не так. Полуправда. Петрашевский много раз бывал у Фёдора Михайловича. Говорили много, спорили. Не со всеми взглядами Михаила Васильевича соглашался Достоевский.

— Что представляло собой общество Петрашевского? Не было ли у него какой тайной, скрытой цели?

— Ходили к Петрашевскому обычно его приятели и знакомые. И среди них не было ни малейшей целостности, ни малейшего единства, ни в мыслях, ни в направлении мыслей. Казалось, это был спор, который начался один раз с тем, чтоб никогда не кончиться. Во имя этого спора и собиралось общество, — чтоб спорить и деспориться. Каждый раз расходились с тем, чтобы в следующий раз возобновить спор с новой силой, чувствуя, что не высказали

и десятой части того, что хотелось сказать. Без споров у Петрашевского было бы чрезвычайно скучно, потому что одни споры и противоречия и могли соединить разнохарактерных людей. Говорилось обо всём и ни о чём исключительно, и говорилось так, как говорится в каждом кружке, собравшемся случайно. Я говорю это утвердительно, рассуждая так: если бы и был кто-нибудь, желающий участвовать в политическом собрании, в тайном обществе, в клубе, то он не принял бы за тайное общество вечеров Петрашевского, где была одна только болтовня, иногда резкая, оттого что хозяин ручался, что она приятельская, семейная, и где вместо всего регламента и всех гарантий был один только колокольчик, в который звонили, чтобы потребовать кому-нибудь слова.

— Нам известно, что в собрании у Петрашевского 11 марта Толь говорил речь о происхождении религии, доказывая, между прочим, что она не только не нужна в социальном смысле, но даже вредна. Сделайте об этом объяснение!

— Я слышал о речи Толя от Филиппова, который сказал мне, что он на неё возражал. Самого же меня в этот вечер у Петрашевского не было.

Фёдор Михайлович хорошо помнил, как студент Филиппов, этот горячий, озорной и в то же время удивительно вежливый мальчик, восхищённо рассказывал о речи Толя. Достоевский охладил его, сказав, что восторгов его не разделяет, религия не только не вредна, но и играет важную роль в нравственном оздоровлении общества. Но комиссии не нужно знать правды о Филиппове.

— В собрании у Петрашевского 25 марта говорено было о том, каким образом должно восстанавливать подведомственные лица против власти. Дуров утверждал, что всякому должно показывать зло в его начале, то есть в законе и государстве. Напротив, Берестов, Филиппов и Баласогло говорили, что должно вооружать подчинённых против ближайшей власти и, переходя, таким образом, от низших к высшим, как бы ощупью, довести до начала зла. Подтверждаете ли вы это?

— И в тот раз меня у Петрашевского не было.

— Нам известно, что 15 апреля вы читали переписку Белинского с Гоголем. Объясните ваши отношения с покойным критиком Белинским.

Достоевский задумался: как объяснить его отношения с Белинским? Сложные были отношения. Сложнейшие! От трепета, восторга даже при упоминании имени великого критика до обиды на него, чуть ли не ненависти...

— Мы ждём вашего ответа: объясните ваши отношения с покойным критиком Белинским.

— Да, я некоторое время был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходный человек — как человек. Но болезнь ожесточила, очерстила его душу и залила желчью его сердце, явилось самолюбие, крайне раздражительное и обидчивое. И вот в таком состоянии он написал письмо своё Гоголю... В литературном мире известно многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни. Известна также и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе. Я упрекал Белинского, что он силится дать ей частное, недостойное значение, низведя её единственно до описания, если можно так выразиться, одних газетных фактов. Белинский рассердился на меня, и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре и не виделись весь последний год его жизни...

— Почему же вы тогда читали письмо человека, взгляды которого не разделяли? — вкрадчиво спросил генерал Дубельт.

— В моих глазах эта переписка — довольно замечательный литературный памятник. И Белинский, и Гоголь — лица, очень замечательные. Отношения их между собой весьма любопытны, тем более для меня, который был знаком с Белинским... Я давно желал прочесть эти письма. Петрашевский случайно увидел в моих руках, спросил: "Что такое?" — и я, не имея времени показать ему эти письма тотчас, обещал их привезти к нему в пятницу...

Члены комиссии внимательно слушали Достоевского.

— Я дал обещание Петрашевскому прочитать письма, — говорил Фёдор Михайлович, глядя на Дубельта, — и уже не мог отказаться от него.



Петрашевский напомнил мне об этом обещании уже у себя на вечере. Впрочем, он не знал и не мог знать содержания писем. Я прочёл, стараясь не высказывать пристрастия ни к Белинскому, ни к Гоголю. При чтении слышны были иногда отрывочные восклицания, иногда смех, смотря по впечатлению. Я был занят чтением и не могу сказать теперь, чьи были восклицания и смех. Сознаюсь, что с чтением письма я поступил неосторожно...

— В собрании у Петрашевского Момбелли, говоря об освобождении крестьян, утверждал, что идеей каждого должно быть освобождение этих угнетённых страдальцев, но что правительство не может освободить их — без земель освободить нельзя. Освободив же с землями, должно будет вознаградить помещиков, а на это средств нет. Освободив крестьян без земель или не заплатив за землю помещикам, правительство должно будет поступить революционным образом. Поэтому выход один — бунт. Было это сказано?

— Весь этот разговор слышал. Слова Момбелли припоминаю. Он говорил с увлечением, но окончательного вывода, того, где сказано, что освободить нужно бунтом, не припоминаю и утверждаю, что разошлись без всякого разрешения этого вопроса. Всё кончилось большим спором... Момбелли сознавал возможность внезапного восстания крестьян самих собой, потому что они уже достаточно сознают тяжесть своего положения. Он выражал эту идею как факт, а не как желание своё. Допуская возможность освобождения крестьян, он был далёк от бунта и от революционного образа действия. Так мне всегда казалось из разговора с Момбелли.

— Понятно, — потёр лоб князь Гагарин. — Тогда объясните нам такой вопрос... В опровержение сказанного Момбелли, Петрашевский говорил, что при освобождении крестьян должно непременно произойти столкновение сословий, которое может породить военный деспотизм или, что ещё хуже, деспотизм духовный. Что подразумевалось под военным деспотизмом и под деспотизмом духовным?

— Помню, что Петрашевский опровергал Момбелли. Ответа Момбелли ясно не припоминаю, хотя помню, что он пустился в довольно длинное развитие. Может быть, я был развлечён в эту минуту посторонним разговором. Не припоминаю совершенно, как было дело... и не могу ясно отвечать на этот вопрос... А Петрашевский говорил о необходимости реформ: юридической и цензурной прежде крестьянской — и даже вычислял преимущества крепостного сословия крестьян перед вольным при нынешнем состоянии судопроизводства. Но не упомяну хорошо, что означали слова “военный и духовный деспотизм”. Петрашевский говорил иногда темно и бессвязно, так что его трудно было понять.

— На том же собрании Петрашевский, говоря о судопроизводстве, объяснил: “Что в нашем запутанном и с предубеждениями судопроизводстве справедливость не может быть достигнута, и если из тысячи примеров и явится один, где она достигается, то это происходит как-то не нарочно, случайно...” Что вы на это скажете?

— Это... было...

— В этом же собрании Момбелли говорил, что перемена правительства не может произойти вдруг, что прежде нужно утвердить диктатуру. Было это сказано? — быстро спросил князь Гагарин, глядя пристально на Достоевского.

Всё так и было, но Фёдор Михайлович понял, какое это страшное обвинение Момбелли, да и всему кружку Петрашевского. Думал об этом в камере, догадывался, что Антонелли всё записал, донёс. Отвечать нужно. Не ответишь — всем будет хуже. И Достоевский заговорил:

— Несмотря на отдалённость времени, я старался собрать все мои воспоминания об этом вечере и никак не мог припомнить, чтоб были сказаны такие слова о нашем правительстве... Момбелли принимался говорить во всеулышание два раза. Первый раз он говорил о насущности крепостного вопроса, о том, что все заняты этим вопросом и что действительно участь крестьян достойна внимания. Во-второй же раз, отвечая Петрашевскому, он поддерживал своё мнение о том, что разрешение вопроса о крестьянах важнее требования юридической и цензурной реформ. И оба раза он говорил до-

вольно коротко, первый раз не более десяти минут и во второй раз не более четверти часа. Об этом воспоминания мои точны, и в оба раза начал и кончил только разговором о крестьянах, не вдаваясь в другие темы. В такой краткий срок он не мог бы коснуться ни до чего другого, кроме тем, на которые говорил. Но чтобы завести речь о таком пункте, как перемена правительства, да ещё вдаваться в подробности, то, естественно, должен был сказать хоть два слова о том, какую он имел в виду диктатуру. Говоря об этом, он вдруг перескочил бы от своей прежней темы к совершенно другой; кроме того, заговорил бы о таком пункте, о котором и слова не было до его речи. Он бы мог сделать это по какому-нибудь поводу, а повода ему дано не было. И, наверное, надо бы обо всём этом долго говорить, гораздо более четверти часа... Следовательно, если даже и было сказано что-нибудь подобное, то оно было сказано до того вскользь, мимолётом и с таким незначительным смыслом, что не удивительно, если я не только позабыл об этих словах, но даже пропустил их тогда в минуту самого разговора. Кроме того, и сказаны были, по моему мнению, не эти слова, а только что-нибудь подобное этим словам, например, что такое бывает вообще при перемене какого-либо правительства, а не нашего правительства. Словам Момбелли, если даже они и были сказаны, очевидно, придали преувеличенный смысл. Он не имел физической возможности для разговора на такую важную, новую тему, не говоря уж о неожиданности перескока на эту новую тему... Может быть, он и сказал это, хорошо не упомяну, но вскользь и вообще, а вовсе не как желание перемены нашего правительства... — Достоевский совсем запутался, пытаюсь выгородить Момбелли, и чувствовал, что комиссия видит, что он запутался. Пот выступил у него на висках. Он смахнул его ладонью и замолчал.

— Кроме указанных вами разговоров, не было ли говорено ещё чего-нибудь особенного в отношении правительства, и кто именно говорил? — спросил Дубельт.

— Я не помню более разговоров, чем-либо замечательных, кроме тех, на которые дал объяснения... Я говорю только о тех вечерах, на которых я сам лично присутствовал. Я знаю по слухам, что говорили Толь, Филиппов, и ещё был спор о чиновниках... Потом я был лично на двух вечерах, на которых толковалось о литературе. Потом, когда говорилось о вопросах: крестьянском, цензурном и судебном. В эти два раза я тоже присутствовал — и вот все речи и разговоры, которые я знаю, кроме не политических. Так, например, была речь Момбелли о вреде карт и о растлении нравов из-за игр. По его идее, карты, доставляя ложное и обманчивое занятие уму, отвлекают его от истинных потребностей, от образования и полезных занятий...

Когда Достоевский замолчал, члены комиссии переглянулись и закончили допрос, сказав, что в ближайшие дни продолжают разговор. О Спешневых, о вечерах у Дурова вопросов не было. Неизвестно, видимо, было о них комиссии. Антонелли не знал. Спешнев тщательно подбирал участников своего тайного общества.

Достоевский поднялся с тяжестью в голове. Такое бывало с ним, когда несколько часов не отрывался от рукописи. Посреди комнаты он вдруг остановился, обернулся к комиссии и быстро проговорил:

— Простите, я хотел узнать... Я видел брата, Андрея... там... Он арестован, но он ни разу не бывал у Петрашевского...

— Знаем, — ответил генерал Дубельт. Он стоял за столом, собиравшись выйти. — Андрей Михайлович арестован был по ошибке, вместо старшего брата... Он уже на свободе.

— А Михаил?

— В крепости.

— Но он всего дважды бывал...

— Разберёмся, — перебил его Дубельт.

— У него семья, дети... Они погибли без средств...

— Об этом ему надо было думать перед дверью в квартиру Петрашевского, — снова сердито перебил генерал Дубельт, отвернувшись, показывая, что разговор окончен, отодвинул стул с высокой спинкой и вышел из-за стола.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ РАЗРЫВ

На одном из вечеров у Панаевых собрались, как всегда, Белинский, Некрасов, Григорович, Тургенев, Дружинин, Боткин. Было объявлено заранее, что в этот вечер будет читать Достоевский главу из повести “Хозяйка”.

Достоевский волновался, когда начинал читать, как примут его новую вещь строгие критики. Повесть “Хозяйка”, когда писал, нравилась ему больше, чем “Бедные люди”, и он надеялся услышать восторженные отзывы.

К концу чтения голос его окреп, возвысился. Заканчивал Достоевский уже бодро, уверенно:

— Старик обхватил её могучими руками и почти сдвинул на груди своей. Но когда она спрятала у сердца его свою голову, таким обнажённым, бесстыдным смехом засмеялась каждая черточка на лице старика, что ужасом обдало весь состав Ордынова. Обман, расчёт, холодное, ревнивое тиранство и ужас над бедным, разорванным сердцем — вот что понял он в этом бесстыдно не таившемся более смехе...

Достоевский закрыл тетрадь и смущёнными глазами обвёл слушателей. Первым заговорил Белинский. При первых его словах отлегло на душе Фёдора Михайловича.

— Я в который раз убеждаюсь, что только Достоевский один может доискаться до таких изумительных психологических тонкостей, — сказал Белинский. — Таких тонкостей в русской литературе ещё не было.

— Я не в восторге от этой повести, — вдруг заявил Некрасов. — К повести “Господин Прохарчин” у меня много претензий, а эта “Хозяйка” вообще неудача: отдельные места хороши, а в целом ниже “Бедных людей”.

— Насколько я знаю, — обратился к Некрасову Белинский, — “Петербургский сборник”, который ты готовишь в типографию, держится на романе “Бедные люди”.

— И я уверен, что “Бедные люди” непременно обеспечат альманаху успех, — подтвердил Некрасов. — Но ни “Господина Прохарчина”, ни “Хозяйку” я не рискнул бы поставить в сборник.

— Да и роман “Бедные люди”, по-моему, многословен, растянут. Я бы его значительно сократил, выжал бы из него воду, — проговорил Тургенев.

— Меня удивляет, — глянул на Тургенева Панаев, — что вы так равнодушно относитесь к такой художественной вещи и не радуетесь появлению нового таланта.

— А меня удивляет, как вы щедры на похвалы, — с иронией парировал Тургенев, — чуть появится новичок в литературе, сейчас начинаете кричать: талант! Отыскиваете в его пробе пера художественность!

— Вы не видите в его романе художественности? — с удивлением спросил Панаев.

— Вы просто мало знакомы с истинно художественными произведениями в иностранной литературе, а если что и читали, то в слабом переводе, — отчеканил Тургенев. — Даже в Пушкине, в Лермонтове, если строго разобрать, немного найдёшь оригинальных художественных произведений. Когда их читаешь, то на каждом шагу натыкаешься на подражание гениальным европейским талантам, как, например, Гёте, Байрону.

— Ну-у, Иван Сергеевич запел свою песенку о Европе, — шутиливо оборвал его Некрасов.

— Да, Россия отстала в цивилизации от Европы, — не унимался Тургенев. — Разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Данте, Шекспир?

— И нас Бог не обидел... Для русских Гоголь — Шекспир, — ответил Некрасов.

Тургенев снисходительно улыбнулся и заговорил с иронией.

— Хватил, любезный друг, через край! Шекспира читают все образованные нации на всём земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать. Это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже о его существовании!

— Печальна участь русских писателей, Европа их не знает... — не скрывая ехидства засмеялся Некрасов.

— Право, обидно: даже какого-нибудь Дюма все европейские нации переводят и читают, — заявил Тургенев.

— Бог с ней, с этой европейской известностью, для нас важнее, если б русский народ мог нас читать, — серьёзно ответил Некрасов.

— Завидую твоим скромным желаниям! — снова с насмешкой сказал Тургенев. — Не понимаю даже, как ты не чувствуешь пришибленности, пресмыкания, на которые обречены русские писатели? Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей... Нет, только меня и видели; как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей.

— Это тебе так кажется, а поживёшь за границей, так потянет в Россию, — усмехнулся Некрасов. — Нас ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса; без них нам ничего хорошего не написать.

— Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям.

— Это не мои иллюзии, разве не чувствуется это сознание в обществе?

— Нет, я в душе европеец, мои требования к жизни тоже европейские! Да и кvasного патриотизма я не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки отсюда, и кончика моего носа не увидите!

— Это ты предаёшься ребяческим иллюзиям. Поживёшь в Европе, и тебя так потянет к родным полям, и появится такая неутолимая жажда испить кисленького, мужицкого квасу, что ты бросишь цветущие чужие поля и возвратишься назад, а при виде родной берёзы от радости выступят у тебя слёзы на глазах.

— От твоих слов, Николай Алексеевич, у меня и вправду появилась жажда чего-нибудь испить кисленького, но не мужицкого... — засмеялся Тургенев и повернулся к Панаеву: — Не пора ли, Иван Иванович, шампанского подать?

— Погоди ты с шампанским! Мы ещё дела журнальные не обсудили, — остановил его Григорович.

— А разве шампанское помеха обсуждению? — засмеялся Тургенев. — Наоборот, веселее пойдёт... Иван Иванович, как дела у нас с “Современником”? Наш?

— Наш, наш “Современник”! — бодро ответил Панаев. — Плетнёв запросил четыре тысячи за него, еле уговорил на три.

— Нелепое запрещение издавать новые журналы развивает в литературе ростовщичество, но что поделаешь! — проговорил Некрасов. — Надо, господа, соглашаться — пусть подавится этими тремя тысячами!

— Хуже, господа, с цензурным комитетом, — произнёс с сожалением Панаев. — Там не утвердили редактором ни меня, ни Некрасова. Сказали — неблагонадёжные люди!

— Пусть Белинский редактирует, — предложил Григорович.

— О Белинском и слушать не захотели. “Северная пчела” уже несколько лет постоянно твердит о зловредном направлении его статей. Сколько доносов написано...

— Придётся брать кого-то со стороны, а это новые расходы, — вздохнул Белинский. — А я уже письменно отказался от сотрудничества в “Отечественных записках”.

— Надо цензору Никитенко предложить место редактора, — сказал Тургенев.

— Ну да, Александр Васильевич не откажется, — согласился Некрасов. — Проще будет статьи проталкивать... Я уже заказал печатные объявления об издании “Современника” во всех журналах и газетах.

— Не надо было этого делать, — сказал Панаев. — Это стоит очень дорого и вовсе не нужно.

— Нам с вами нечего учить Некрасова, — возразил ему Белинский. — Ну, что мы смыслим! Мы младенцы в коммерческом расчёте: сумели ли бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом,

как он для своего сборника? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего соваться.

После вечера по дороге домой Фёдор Михайлович спросил у Григоровича о том, что его мучило:

— Что сказал обо мне Белинский за игрой в карты, когда Некрасов захотал?

— Некрасов не над тобой смеялся.

— И всё же... — настаивал Достоевский.

— Чепуха это! — отмахнулся Григорович. — Ты в тот момент как-то слишком раздражительно спорил, и Белинский спросил у Тургенева, что это с Достоевским? Говорит какую-то бессмыслицу, да ещё с таким жаром!.. Тургенев ему на это сказал, что ты вообразил себя гением, Некрасов поддакнул.

— А что же Виссарион Григорьевич? — похолодел Фёдор Михайлович, и на душе его стало тревожно. — Согласен с ними?

— Нет... Что ты! Просто грустно так пожал плечами и вздохнул, говоря: что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он вместо того, чтобы разрабатывать его, вообразит себя гением, то ведь не пойдёт вперед...

— Так и сказал? — переспросил грустно Достоевский.

— Да, и добавил: Достоевскому непременно надо лечиться, всё это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть, потрепала его, бедного, жизнь! Тяжёлое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни.

— Может, он и прав... — печально пробормотал Достоевский.

После этого разговора Фёдор Михайлович стал избегать вечеров у Панаевых, да и встреч с Некрасовым и Тургеневым. О том, что происходило в кружке Белинского, ему пересказывал словоохотливый и болтливый Григорович. Однажды он сообщил, что Белинский написал о Достоевском Анненскому:

— Анненский читал нам с Некрасовым его слова...

— И что же он пишет? — встревожился Фёдор Михайлович.

— Пишет, что Достоевский написал повесть “Хозяйка”, — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подбавивши немного Гоголя. Мол, Достоевский ещё написал кое-что после того, но каждое его новое произведение — новое падение... В столице отзываются враждебно даже о “Бедных людях”: я трепещу при мысли перечитать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!

— Прямо так и написал? — недоверчиво спросил раздавленный Достоевский.

— Дословно цитирую... А эти насмешники — Тургенев с Некрасовым — написали юмористические стишки вроде послания к тебе Белинского, читали их у Панаевых. Раздавали всем... Смеялись...

— И у тебя есть?

— Есть!

— Прочитай... раз уж все читали...

Григорович достал из кармана сложенный вчетверо листок, развернул его и взглянул на Достоевского, мол, может, не стоит читать.

— Читай, читай... — хмуро бросил Достоевский, понимая, что сейчас услышит насмешливые и ядовитые строки.

Григорович начал читать:

*Витязь горестной фигуры,  
Достоевский, милый пыц,  
На носу литературы  
Рдеешь ты, как новый прыщ.  
Хоть ты юный литератор,  
Но в восторг уж всех поверг:  
Тебя знает император,  
Уважает Лейхтенберг...*

*С высоты такой завидной,  
Слух к мольбе моей склоня,  
Брось свой взор пепеловидный,  
Брось, великий, на меня!  
Буду нянчиться с тобою.  
Поступлю я, как подлец:  
Обведу тебя каймою,  
Помещу тебя в конец...*

Больше Фёдор Михайлович с Белинским не встречался.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ПЕТРАШЕВСКИЙ ДЕЙСТВУЕТ

Петрашевский ждал, что на третий день содержания в Петропавловской крепости ему предъявят обвинение. Знал, что по закону, если не будет этого, должны отпустить на поруки. Но прошли третьи сутки, прошли четвёртые — обвинения нет и выпускать не собираются. Петрашевский потребовал коменданта. Явился высокий худой одноглазый старик, который делал обход арестованных в первый день вместе с комендантом крепости.

— Вы меня звали? — спросил он.

— Я звал коменданта крепости, — строго объявил ему Петрашевский.

— Коменданта не велено звать к арестованным. Какая у вас нужда? Если что-то важное, я доложу коменданту.

— Важное? Конечно, важное. Важнее некуда! — рассердился Петрашевский. — Я нахожусь здесь пятые сутки, а мне до сих пор не предъявлено обвинение. По нашим законам, если арестованному не предъявлено обвинение на третьи сутки, то его должно отпустить на поруки. Почему меня держат в крепости? Почему не отпускают домой?

— Это мне не ведомо.

— Принесите мне книгу “Уголовное судопроизводство”...

— Это мне не велено.

— Принесите книгу, и я вам докажу, что по закону вы обязаны меня отпустить...

Смотритель молча повернулся и вышел из камеры.

— Передайте коменданту, что я требую: либо предъявить мне обвинение, либо выпустить отсюда! — крикнул ему вслед Петрашевский и стал неспешно, посвистывая, ходить по камере.

Дней десять после этого никто к нему не входил. Петрашевский требовал, чтобы позвали коменданта, чтобы вели на допрос, но надзиратель молча выслушивал его, и всё оставалось без изменения. Михаил Васильевич слышал, как хлопали двери соседних камер, слышал голоса, догадывался, что водят на допрос других арестованных. Мучился: что они теперь там говорят? Много было среди арестованных неопытных, молодых ещё совсем людей. Но на прогулки его по-прежнему выводили во двор ежедневно.

Однажды он снова обратил внимание на лоскуток краски возле дорожки, в траве, покрутил его в руках и понял, что нужно делать. В камере он выломал зуб у вентилятора.

Потом оторвал лоскут краски, отставшей от стены под подоконником, сел за стол и стал выцарапывать зубом слова, прислушиваясь, нет ли шагов в коридоре.

“Нас оклеветали, — писал он мелкими буквами. — Очных ставок требовать. Письменным показаниям не верить. Ложных свидетелей бояться. Не говорить ничего плохого о других. Требовать явки обвинителя”.

Больше ничего на этот лоскуток поместить было нельзя. Петрашевский спрятал его под тюфяк и снова подошёл к окну. На этот раз он долго осматривал стену с клочками окраски, выбирал, чтоб отодрать побольше кусок. Восемь лоскутов исписал, советуя, как вести себя на допросах. “Не давать влиять на себя или запугивать, быть спокойным. Терпение и мужество.

Вмешивать как можно меньше лиц, тех, кто арестован. Не отвечать на вопросы неопределённые, неясные, вкрадчивые, требовать, чтоб их объяснили. Задавать вопросы следователю. Стараться по возможности стать в положение нападающего, задавать вопросы навстречу. Таким образом выяснить, что он хочет и что он надеется найти”.

Вечером в этот же день, на двадцать четвёртый день пребывания в крепости, его в первый раз повели на допрос. На вопросы он отвечать не стал. Сидел, демонстративно прикрыв глаза, дремал, позёвывал, делал вид, что ему всё равно, что говорит комиссия. Видел, что такое его поведение раздражает генералов, посмеивался про себя.

— Вы обвиняетесь в организации тайного общества, заседания которого проходили у вас по пятницам, — строго говорил князь Гагарин. — С какой целью было создано ваше общество?

Петрашевский молча отвернулся к окну, никак не реагируя на слова князя.

— Кто входил в ваше тайное общество? — спросил доброжелательно генерал Дубельт. — Перечислите поимённо.

Петрашевский молча смотрит в сторону окна.

— Хорошо. Поставим вопрос по-иному, — спокойно проговорил Дубельт. — Кто посещал ваши вечера по пятницам и как часто?

Петрашевский невозмутимо зевнул.

— Членами вашего тайного общества показано, — на этот раз заговорил генерал Набоков, — что главной целью общества было ниспровержение существующего порядка в государстве, пагубные намеренья относительно самой особы всемилостивейшего Государя Императора и замещение общественного устройства другим на основании социальных идей. К чему принято было приготовление умов распространением этих идей в России. Показания эти верны?

Петрашевский потянулся и смахнул соринку со своего колена.

— Вы будете отвечать на вопросы? — резко и раздражённо крикнул генерал Набоков.

Петрашевский будто не услышал раздражённого окрика генерала.

Генерал Дубельт обратился к Комиссии:

— Господа, я не вижу смысла продолжать допрос. Отложим до следующего раза.

На другой день Петрашевский спрятал в халате исписанные куски окраски и прихватил их с собой на прогулку. Выбросил потихоньку в траву возле дорожки. А осьь будут гулять товарищи его, заметят, прочитают и, может быть, напишут что-то ему.

Почти сразу же после прогулки его снова вызвали на допрос. Вёл он себя так же, как и вчера, и его быстро отправили в камеру. Он думал, что на следующий день снова поведут, но о нём будто забыли.

В голове он всё время перемалывал вопросы членов комиссии. Из них он заключил, что является главной жертвой клеветнического доноса, что в него упираются все главные обвинения, а все прочие арестованные — только живые улики и доказательства его злоумышления. Он понял, что чем больше возведённая на него клевета, ложное обвинение, тем хуже положение других, разделяющих с ним участь заточения. Не отвечать на клевету — значит, давать молчанием ей вес и силу, косвенно служить гибелью ближнего, невольно служить орудием торжества того злодея, который на их страданиях решился основывать своё благополучие. Обдумав всё это, Петрашевский подошёл к двери и постучал в неё кулаком.

— Чего буяните? — сердито откликнулся надзиратель.

— Передайте смотрителю, пусть принесёт бумагу и чернила с ручкой, — громко и решительно отозвался Петрашевский. — Я хочу дать правдивые показания по всем пунктам!

На этот раз ему не отказали. Весь следующий день он писал, писал то торопливо, страстно, стараясь поспеть за мыслью, то надолго задумываясь, как точнее и тоньше выразить свою мысль.

“Вы, господа следователи, — писал он, — получите от меня отчёт о делах человека искренне благонамеренного, который может без страха обратиться

взор на своё прошедшее, ибо знает он, что прошедшее его будет говорить не против него, а за него. Вы услышите от меня мнения, никому никогда не обнародованные, — о предметах важных нашего быта общественного — слово истинного патриота, сделавшего себе девизом ненависть к немцам, а под этим — к скрывающим тайную вражду против просвещения и желание сохранить чрез невежество других способ себе делать злоупотребления безнаказанно. Вы услышите речь человека, желающего сделать, быть может, последнее доброе дело, защитить, быть может, самых благороднейших и достойнейших среди миллионов людей, быть может, будущую надежду России, из которых многих, может, не забудет потомство. Вы услышите грозное слово врага всяких злоупотреблений...

Быть может, читая эти строки, припомните вы, господа следователи, многое давно забытое, встрепенется сердце ваше невольно и пробежит в уме вашем мысль добрая и благая. Вы хотите от меня правды, так умеете её слушать... Порой, быть может, мелькнёт отрадная картина будущего счастья человечества — и вы, обвиняющие нас в утопизме, сами на минуту будете утопистами, потому что всё это может показаться вам лёгким и возможным. Порой вы увидите тысячу жертв, невинно сгубленных, тысячи неправд, губящих силу народа русского, и предстанет перед вашими очами горькое прошедшее вашего отечества, и нерадостно осветится картина будущих судеб.

Но к делу, господа следователи. Я и мои товарищи по заключению находимся с вами в состоянии войны. Наши отношения — это отношения двух армий. Вы ведёте большую войну, ваши силы сконцентрированы. Вы, пятеро, спрашиваете одного, у вас есть общий стратегический план — это ложный донос. Сверх того, имеете множество беглецов из наших рядов: это книги, бумаги, неловкие показания. Мы находимся в состоянии армии, разбитой на мелкие части, которой, пока война ведётся на нашей земле, едва ли удастся соединиться. Я же нахожусь в состоянии отряда более других сильного, на который и движется вся масса вражеских сил. Ретирада невозможна — надо создать все: и средства к победе, и самый случай.

Комиссия могла избрать себе в руководство при следствии два выражения известные. Или выражение Ришелье, который, хвастаясь своим умением всё как ему вздумается перетолковать, сказал: “Напишите семь слов, каких хотите, и я из этого выведу вам уголовный процесс, который кончится смертной казнью”. Или изречение Екатерины Великой: “Лучше простить десять виноватых, нежели одного невинного наказать”. Какое из двух выражений комиссия избрала, я заключить ещё не вправе”.

На этом месте Петрашевский надолго задумался. Надо развернуть оба изречения, доказать пагубность следования по пути Ришелье и справедливость мысли Екатерины. Вспомнилось, что кто-то рассказывал, что в провинции, услышав имя Леонтия Васильевича Дубельта, вздрагивают, крестятся и говорят: “Да сохранил нас сила небесная!” Петрашевский, горбясь, прошёлся по камере, постоял у окна, глядя на густо синее весеннее небо. За окном май кончается, весна в разгаре. Михаил Васильевич быстро вернулся к столу и стал писать, обвиняя следователей в пристрастии в пользу лживого доносчика, в нарушении законов, в лишении его возможности быть равным перед лицом закона с обвинителем, потребовал отвода штатского члена комиссии. Петрашевский принял князя Гагарина за директора департамента полиции и считал его принимаемым доноса, заинтересованным в этом деле.

“Обвинение, лживый донос в отношении к нам является в двойном отношении — как личное оскорбление и как ущерб имущества. Совершитель того и другого есть ложный доносчик, а принимаемый доноса — соучастник в таковом, противном законам акте. Каждый из нас имеет какую-нибудь собственность или имел какое-либо занятие, которое сверх службы приносило некоторый доход. Находясь в заключении, не можем имуществом распоряжаться, как должно. Следовательно, несётся убыток. Занятия, кто какие имел, например, давание уроков, литературный труд, тоже прерваны, а даже некоторые и потеряны. Тот, кто давал уроки, мог потерять место, или тот, кто писал статью к сроку в журнал, тоже пострадал, статья пропала.



Тот, кто занимался литературным трудом, лишён был в течение всего этого времени возможности писать. Следовательно, тоже понёс ущерб в своём материальном состоянии. Вот неизбежные последствия лживого доноса и заключения, из него проистекающего, и не справедливо ли требовать вознаграждения по этому предмету согласно существующим на сей конец в десятом томе свода законов постановлениям о вознаграждении за ущерб по имуществу. Впрочем, не одно это материальное зло — есть прямое последствие лживого доноса. Есть ещё вред нравственный, равный по своим последствиям с тяжкой личной обидой или оскорблением...

Вслед за этим рождается вопрос, как может быть велика та сумма, которую каждый из обвиняемых вправе требовать в вознаграждение, и как её определить. Это разрешить я постараюсь довольно отчётливо как в отношении себя, так и других”.

Петрашевский подсчитал свои убытки, объяснил их, вышло около пяти тысяч рублей убытков только у него одного. “За личное же оскорбление — тяжкую обиду — получить следует не менее двойного оклада жалования — то есть тысячу рублей серебром”. И другим пострадавшим подсчитал, сколько нужно получить. “Есть ещё человек, для вознаграждения которого следует употребить иной способ. Это г. Модерский, как кажется, незаконнорожденный сын какого-то князя Четвертинского. Он намеревался держать экзамен в университет, но исполнить это помешало заключение его в крепость. Поэтому если б ему было дозволено в течение года держать экзамен, он был бы весьма доволен... Но здесь ещё представляется иной вопрос... От нашего несправедливого заключения пострадало общество, то есть силами нашими, нашей деятельностью оно не пользовалось, вследствие чего и оно должно быть тоже вознаграждено за эту потерю...”

Уверенность в совершенной мной невинности во мне неподавима. Осудить меня можно, но не сделать виновным. Бог не в силе, а в правде... И если мне, невинному, суждено надеть оковы, дайте же мне самому надеть их, чтоб ознакомиться поскорее с этим будущим членом моего организма, с этим дорогим ожерельем, которое надела на меня любовь моя к человечеству. У меня нет силы исполинской, к труду механическому не привык, дозвоьте, прошу вас, как милости, к ним попривыкнуть, чтоб, идя по пыльному пути, не тяготить своей слабостью спутника. Быть может, судьба поместит меня рядом с закоренелым злодеем, на душе которого лежит десять убийств. Сидя на привале, полдничая куском чёрствого хлеба, мы разговоримся, я расскажу, как и за что меня постигло несчастье. Расскажу ему про Фурье, про фаланстер — что и зачем там и как, объясню, отчего люди злодеями делаются... И он, глубоко вздохнув, расскажет мне свою биографию. Из рассказа его я увижу, что много великого сгубили в этом человеке обстоятельства. Душа сильная пала под гнётом несчастий. Быть может, в заключение рассказа он скажет: “Да если бы было по-моему, если бы так жили люди, не быть бы мне злодеем...” И я, если только тяжесть цепи позволит, протяну ему руку и скажу: “Будем братьями”, — и, разломив кусок хлеба, ему подам, говоря: “Есть много я не привык, тебе более нужно, возьми и ешь”. При этом на его загорелой щеке мелькнёт слеза, и подле меня явится не злодей, но равный мне несчастный, быть может, тоже вначале худо понятый человек...

Жду всего спокойно. Слова Спасителя, на кресте умирающего, раздаются в ушах моих, и спокойствие предсмертное нисходит в мою душу”.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ВТОРОЙ ДОПРОС ДОСТОЕВСКОГО

Напрасно Достоевский радовался, считая, что комиссия ничего не знает о кружке Спешнева. На следующем допросе князь Гагарин сразу же ошарашил его:

— Нам стало известно, что помимо кружка Петрашевского существовало тайное общество Спешнева. Расскажите нам о нём.

— Со Спешневым я был знаком лично, — медленно заговорил Фёдор Михайлович, лихорадочно думая: “Неужели они знают об обществе, знают о типографии?” — Ездил к нему, но на собраниях у него не бывал и не слышал о таковых. В каждый приезд мой я заставлял его одного...

— Общество это собиралось не у Спешнева, а на квартире поэта Дурова. И вы постоянно посещали собрания.

— На вечерах Дурова я бывал. Но они были чисто литературно-музыкальные... Никаких речей там никто никогда не произносил...

Достоевский глядел на бледное лицо князя. “Не Майков ли выдал? — мелькнуло в голове. — Нет, Майков не выдаст. Он честный человек!” — решил Достоевский.

— Кто ещё посещал вечера Дурова и чем там занимались? — спросил генерал Дубельт.

— Вечера эти были приятельскими. Мы все хорошо знали друг друга. Читали свои новые стихи и повести, слушали игру музыкантов, говорили об искусстве. Постоянно бывали на вечерах литераторы Дуров и Пальм, студент Филиппов, поручики Григорьев и Момбелли... Иногда приезжал Спешнев. Он интересовался искусством. Бывал и брат мой Михаил...

— На тех вечерах поручик Момбелли сделал предложение о тесном сближении между посетителями, дабы под влиянием друг друга твёрже укрепиться в направлении и успешнее поддерживать свои идеи в общественном мнении. Что он имел в виду?

— Это было ещё в самом начале вечеров Дурова, кажется, даже в первый вечер... Момбелли действительно начал говорить что-то подобное, но всех его слов не упомяну. Но помню, что он не закончил, потому что его прервали. Момбелли засмеялся, не обиделся за невнимание, и общество осталось чисто литературно-музыкальным...

Вспомнилось, как Момбелли читал у Дурова отрывки из своего дневника. Один из них особенно поразил, потряс Достоевского и запомнился ему, как теперь кажется, навсегда. Помнился и сейчас.

“В шесть утра, — читал Момбелли, — на Семёновском парадном месте, в присутствии командующего корпусом Арбузова, назначено наказание шпицрутенами фельдфебеля гвардии Егерского полка Тищенко за то, что ударил по щеке полкового казначея того же полка капитана Горбунова. Поручик Сатин назначен привести на плац команду зрителей нашего полка, составленную из двух унтер-офицеров и двенадцати рядовых от каждой роты. Мне тоже приказано находиться при команде.

Аудитор прочёл конфирмацию, во время чтения которой Арбузов, а за ним и генералы почтительно подняли руки под шляпы, а все офицеры взяли под кивера. Тищенко стоял в мундире фельдфебеля под конвоем. После чтения ему тотчас же спорили нашивки и галуны. Конфирмация определила ему, лишив звания, наказание шпицрутенами через тысячу человек пять раз. Капитана Горбунова, за то, что несколько раз бил Тищенко, на месяц под арест с содержанием на гауптвахте.

Командир перестроил батальон в две шеренги, приказал задней на четыре шага отступить и поставил шеренги лицом одну к другой. Торопливо раздали солдатам шпицрутены — длинные прутья толщиной с палец, — которыми солдаты, понуждаемые начальниками, начали махать, как бы принаравливаясь, как сильнее ударить. Тищенко раздели догола, связали кисти рук накрест и привязали их к прикладу ружья, за штык которого унтер-офицер потянул его по фронту между двух шеренг, вооружённых шпицрутенами. Удары посыпались на Тищенко с двух сторон, при заглушающем барабанном бое. В то время, когда раздевали Тищенко, Арбузов сказал речь солдатам, состоящую из угроз — в случае не вполне сильного удара самого солдата провести между шпицрутенов. Потом в продолжение всей экзекуции Арбузов следил с лошади за Тищенко, непрерывно кричал, чтоб сильнее били. Отвратительная хамская физиономия Арбузова от напряжения сделалась ещё отвратительней и стала похожа на кусок сырого мяса.

Несмотря на жестокость ударов, несчастный прошёл тысячу и уже в самом конце упал на землю без чувств. Два медика, ожидавшие с фельдшерами

этого момента, подбежали к упавшему, привели его в чувство, поставили на ноги, — и снова барабан загремел, и снова посыпались удары на истерзанную спину. Всего он вынес три тысячи ударов. Когда несчастный непризнанный герой, пожертвовавший собой за дело чести, не допустивший безнаказанно ругаться над личностью своею, проходил третью тысячу, то несмотря на отвращение, преодолев себя, посмотрел на мученика, — вид его был ужасен: от шеи и до конца икр — красное свежее мясо, по временам брызжущее кровью, избито в биток и местами висит кусками, вероятно, многие кусочки отброшены от тела, на спине висел большой шматок содранной кожи; ступни же и конец ног до избитых икр бросались в глаза разительною голубоватою белизною, как мрамор с голубым отливом. Тищенко беспрестанно падал без чувств, и в конце третьей тысячи поднять его не смогли. Его отвезли в госпиталь, чтобы возвратиться к жизни и снова подвергнуть истязанию, провести через две остальные тысячи. Но через два дня Тищенко умер”.

— На тех же вечерах, — говорил между тем Дубельт, — студент Филиппов предлагал заняться разработыванием статей о современном состоянии России и печатать их в домашней типографии. Что вы на это скажете?

— Филиппов делал такое предложение... Но вы говорите о домашней типографии, а я о печатании никогда и ничего не слышал у Дурова... да и нигде. Об этом и помину не было. Филиппов же предложил литографию. Это мне совершенно памятно... Он просто приглашал заняться разработкой статей о России...

— Давно ли вы знакомы с Филипповым? — спросил Дубельт.

— Я познакомился с Филипповым прошлым летом на даче, в Парголове. Он ещё очень молодой человек, горячий и чрезвычайно неопытный, готов на первое сумасбродство и одумается только тогда, когда беды наделает. Но в нём много очень хороших качеств, за которые я его полюбил: честность, изящная вежливость, правдивость, неустрашимость и прямодушие. Кроме того, я заметил в нём ещё одно превосходное качество: он слушается чужих советов, чьи бы они ни были, если только сознаёт их справедливость, и тотчас же готов сознаться в своей ошибке и раскаяться в ней, если в том убедят его. Но горячий темперамент его и ранняя молодость часто опережают в нём рассудок... Да, кроме того, есть в нём ещё одно несчастное качество — это самолюбие или, лучше сказать, славолюбие, доходящее в нём до странности. Он иногда ведёт себя так, как будто думает, что все в мире подзревают его храбрость, и я думаю, что он решился бы соскочить с Исаакиевского собора, если бы кто-нибудь стал сомневаться, что он не бросится вниз, струсит... Я говорю это по факту. Я боялся холеры в первые дни её появления. Ничего не могло быть приятнее для Филиппова, как показывать мне каждый день и каждый час, что он нимало не боится холеры. Единственно для того, чтобы удивить меня, он не остерегался в пище, ел зелень, пил молоко и однажды, когда я, из любопытства, что будет, указал ему на ветку рябиновых ягод, совершенно зелёных, и сказал, что если съест эти ягоды, то холера придёт через пять минут, Филиппов сорвал всю кисть и съел половину, прежде чем я успел остановить его. Эта детская безрассудная страсть, достойная сожаления, к несчастью, главная черта его характера. Из того же самолюбия он чрезвычайно спорщик и любит спорить обо всём. Несмотря на то, что он образован и вдобавок специалист по физико-математическим предметам, у него мало серьёзных выработанных убеждений... Предложение его почти все приняли весьма дурно. Мне показалось, что половина присутствующих только оттого тут же не высказались против предложения, что боялись, что другая половина заподозрит их в трусости, и хотели отвергнуть предложение не прямо, а каким-нибудь косвенным образом. Начались толки. Всякий представлял неудобства, многие молчали. Больше всех говорили Момбелли и Филиппов... Но не помню, поддерживал ли Момбелли Филиппова. Мало-помалу приятельский тон нашего кружка расстроился. Дуров ходил по комнате, хандрил. Некоторые уехали сразу после ужина. Наконец, досада Дурова на Филиппова излилась в припадке. Он завёл Филиппова в другую комнату, придрался к какому-то слову и наговорил дерзостей. Филиппов вёл себя благородно, поняв, в чём дело, и не

отвечал запальчиво... На другой день брат объявил мне, что он не будет ходить к Дурову, если Филиппов не возьмёт назад своего предложения. Это он, помнится, объявил и Филиппову. Когда собрался в другой раз, я попросил, чтоб меня выслушали, и отговорил всех. Все как будто ждали этого, и предложение Филиппова было откинута... Потом я был очень занят у себя дома литературной работой, виделся с очень немногими из моих знакомых, да и то мельком, но слышал, что вечера совсем прекратились.

Достоевский лукавил. Он знал, что готовый типографский станок в разобранном виде находился у Филиппова. По тому, что слушали его, не перебивая, Фёдор Михайлович догадался, что станок жандармы не нашли. Иначе не стали бы слушать так терпеливо его байки. Вопрос князя Гагарина о Черносвитове, последовавший сразу после того, как он замолчал, убедил Достоевского, что о типографском станке комиссия ничего не знает.

— Расскажите, когда и как вы познакомились с Черносвитовым? — спросил князь Гагарин.

— Я встретил его в первый раз у Петрашевского, никогда не видел его прежде и видел его не больше двух раз, — быстро и бодро ответил Достоевский.

— На собрании у Петрашевского Черносвитов говорил, что Восточная Сибирь есть отдельная страна от России и что ей суждено быть отдельной империей, причём звал всех в Сибирь, говоря: “А знаете что, господа, поедете все в Сибирь — славная страна, славные люди...”

— Слова эти припоминаю... Но только не помню, чтобы Черносвитов давал им подобный смысл. Он говорил, что восточный край Сибири действительно страна как бы отдельная от России, но сколько я припомню, в смысле климатическом и по особенной оригинальности жителей. Такого же резкого суждения, что Сибирь станет отдельной империей, я решительно не слышал от Черносвитова и такого смысла в словах его, по моему мнению, не заключалось.

— Вы однажды предупредили Спешнева, что вам кажется, что Черносвитов шпион. Объясните, какие разговоры Черносвитова внушили мысль, что он шпион?

— Не особенное что-нибудь из разговора Черносвитова, но всё в его словах внушало мне эту, впрочем, мгновенную мысль... Мне показалось, что в его разговоре есть что-то увёртливое. Он как будто себе на уме... Видел Черносвитова после того всего один раз, я даже и позабыл моё замечание.

— Объясните нам, — попросил вежливо Дубельт, — с которых пор и по какому случаю проявилось в вас либеральное или социальное направление?

— Со всею искренностью говорю, что весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему отечеству, в желании безостановочного движения его к усовершенствованию. Это желание началось с тех пор, как я стал понимать себя, и росло во мне всё более и более, но никогда не переходило за черту невозможного. Я всегда верил в правительство... Злобы и желчи во мне никогда не было. Мною всегда руководила самая искренняя любовь к отечеству, которая подсказывала мне добрый путь и оберегала от пагубных заблуждений. Я желал многих улучшений и перемен. Я сетовал о многих злоупотреблениях. Всё, чего хотел я, это чтоб не был заглушён ничей голос и чтобы выслушана была, по возможности, всякая нужда. И потому я изучал, обдумывал сам и любил слушать разговор, в котором бы знающие больше меня говорили о возможности некоторых перемен и улучшений. Если желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то в этом смысле я, может быть, вольнодумец.

— Значит, вы признаёте, что вы вольнодумец? — спросил Дубельт.

— Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своём и любовь к России и сознание, что никогда ничем не повредил ей... В том ли проявилось моё вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о которых другие считают долгом молчать, не потому, чтобы опасались сказать что-нибудь против правительства,

но потому, что, по их мнению, предмет такой, о котором не принято говорить громко. Но зачем же мы сами так настроили всех, что на громкое откровенное слово смотрят, как на эксцентричность! Моё мнение, что если бы все были откровеннее с правильностью, то было бы гораздо лучше для нас самих. Мне всегда было грустно видеть, что мы все как будто инстинктивно боимся чего-то, что излишнее умолчание, излишний страх наводят какой-то мрачный колорит на нашу обыденную жизнь, в которой кажется всё в безрадостном неприветливом свете, и, что всего обиднее, колорит этот ложный, весь этот страх беспредметен, напрасен, все эти опасения — наша выдумка. Я всегда был уверен, что сознательное убеждение лучше, крепче бессознательного, неустойчивого, колеблющегося, способного пошатнуться от первого ветра, который подует. А сознания не высидишь и не выживешь молча. Сами мы бежим от общения, дробимся на кружки или черствуем в уединении. А кто виноват в этом положении? Мы, мы сами и не более никто... Я так всегда думал...

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ДОПРОС ПЕТРАШЕВСКОГО

Когда на следующий день Петрашевского повели на допрос, он решил, что послание его прочитано, и готовился вести по нему разговор, вспоминал, что писал в горячке, старался предугадать вопросы, искать ответы, но, войдя в комнату, где располагалась комиссия, увидел на столе перед штатским следователем на бумаге куски окраски и растерялся.

— Вы по-прежнему намерены молчать? — строго спросил князь Гагарин, но за строгостью его чувствовалось торжество победителя.

— Я готов отвечать.

— Тогда скажите нам, говорит ли вам что-нибудь это? — обвел князь рукой куски окраски с нацарапанными на них словами.

— Говорит.

— Это вы писали? — поднял лоскут генерал Дубельт и показал Петрашевскому.

— Я.

— С какой целью?

— Хотел предостеречь других арестованных в отношении моей личности.

— Чем вы писали?

— Зубом вентилятора... Отломил и царапал.

— Итак, вы сознаётесь в том, что пытались вступить в сговор с вашими соучастниками преступления путём переписки на окраске?

— Нет, — быстро ответил Михаил Васильевич, а потом заговорил медленно, обдумывая каждое слово. — Писанное мной на окраске комнаты ни в какое доказательство принято быть не может. Это было только выражение моих мыслей, и как на основании статьи Уголовного судопроизводства: “Содержащиеся под стражей до объяснения приговора акты совершать могут”, — ясно показывает, что выражать мысли можно. Но я сознаюсь в порче казённого имущества во время моего пребывания под стражей. — Петрашевский взглянул на писаря, быстро записывающего его ответ, и медленно продиктовал, — а именно: отколке квадратной четверти окраски и вырывании зуба вентилятора. За порчу окраски комнаты следует на мой счёт ту стену, от которой она отбита, перетереть и перекрасить, ровно, как и вентилятор исправить. Чтоб так было поступлено, того требуют законы справедливости и нравственности — так желаю и я, ибо ничего незаконного, несправедливого и безнравственного никогда не желал.

— Понятно... Расскажите, когда, где и каким образом вы познакомились с Черносвитовым? — вкрадчиво спросил генерал Дубельт.

Петрашевский вздрогнул при имени Черносвитова, метнул взгляд в сторону Дубельта и машинально повторил, почти воскликнул:

— Черносвитовым?

Дубельт кивнул.

“Значит, Черносвитов?” Вспомнилось широкое, скуластое лицо Черносвитова, с монгольскими глазами, с подкрученными вверх усами. Верно угадал Достоевский. А он не верил, что Черносвитов провокатор. Вот зачем тот вынохивал о тайном обществе, планы бунта предлагал. Всё им известно. Не надо скрывать ничего о Черносвитове.

— Черносвитова привёз ко мне в одну из пятниц Пётр Латкин, купеческий сын...

— Что за человек Черносвитов? Каким он вам показался? Не чувствовали ли вы в нём желания бунта? — спросил на этот раз князь Гагарин.

— С полным чистосердечием могу сказать: Черносвитов желал возмущения народного и не скрывал этого.

— Нам известно, что в одну из пятниц, по уходе гостей, Черносвитов, оставшись наедине с вами и Спешневым, между прочим, говорил, что не может быть, что в России нет тайного общества, доказывая это пожарами в 1848 году и происшествиями в низовых губерниях. Так ли это?

— Подтверждаю... Сказано это было Черносвитовым.

— Когда он вас со Спешневым пригласил к себе, и вы отправились к нему, по дороге Спешнев говорил, что он будет выказывать Черносвитову себя главою целой партии. Объясните эти слова Спешнева и расскажите, что происходило у Черносвитова и в чём состояли ваши разговоры?

— Когда мы шли к Черносвитову, я спросил у Спешнева, не известно ли, что хочет им объявить Черносвитов. Он ответил, что разговор пойдёт о серьёзном деле, и сказал мне, что для важности он хочет объявить себя главою партии коммунистов, а что я пусть буду, чем есть, то есть человеком, желающим мирной реформы и усовершенствования общественного. Целью же своей он полагает бунт крестьян. Я поражён был этим и сказал, что незачем это делать, и был вообще этим рассержен...

— Нам известно, что когда вы пришли к Черносвитову, то он, усадив вас на диван и сам сев против вас, сказал: “Ну вот, господа, теперь дело надо вести начистоту”. Тогда вы отозвались: “Ну да”. И Черносвитов изложил план восстания, говоря, что сначала надо, чтоб вспыхнуло возмущение в Восточной Сибири. Туда пошлют корпус, но едва он перейдёт Урал, как станет Урал, и посланный корпус весь в Сибири останется, что с четырьмястами тысячами заводских можно кинуться на низовые губернии на землю донских казаков, что на потушение этого потребуются все войска, а если к этому будет восстание в Петербурге и Москве, так всё и будет кончено. Был ли такой разговор?

— Слова Черносвитова подтверждаю... Но прошу учесть, что это были только слова. Никаких действий никто не предпринимал и предпринимать не собирался.

— Значит, никто ничего предпринимать не собирался? — улыбаясь добродушно, вновь своим вкрадчивым голосом переспросил Дубельт.

— Да.

— Взгляните, пожалуйста, на этот документ, — Дубельт протянул лист, исписанный мелким почерком Спешнева.

Петрашевский стал читать про себя: “Я, нижеподписавшийся, добровольно, в здравом размышлении и по собственному желанию поступаю в Русское общество и беру на себя следующие обязанности, которые в точности исполнять буду”. Это было то самое заявление о вступлении в тайное общество, которое Спешнев показывал Достоевскому.

— Знаком вам этот документ? — спросил Дубельт, когда Петрашевский вернул ему лист.

— Нет, — покачал головой Михаил Васильевич.

— Знаете, кто его написал?

— Догадываюсь...

— Что вы можете сказать по этому поводу?

— Думаю, написан проект недавно. Он даже не закончен... И соотнести этот акт с законами, то это единственное свидетельство об умысле бунта... Наказать за это нельзя, вреда обществу не было. Вот всё, что могу сказать...

— А вы утверждали, что никто ничего не замыслил.

— У Спешнева не так давно умерла женщина, которую он страстно любил. И у него с тех пор возникла некоторая досада на жизнь. Думаю, что этот проект Русского тайного общества есть одна из форм, придуманных им для самоубийства...

— Допустим, что это так, — чуть насмешливо сказал Дубельт. — Нам известно, что в декабре прошлого, 1848 года на собрании у вас в пятницу вы сказали Спешневу: “Останься, пожалуйста, попозже. Момбелли хочет переговорить с тобой”. Объясните, о чём Момбелли хотел говорить со Спешневым?

— Да, я Спешнева остановил, чтоб познакомить его с Момбелли. О желании Момбелли я в то время не знал.

— Когда Спешнев и Момбелли остались у вас, и вы пригласили их в свой кабинет, то Момбелли, предварив, что чем бы ни кончился разговор, но чтобы он остался между вами, сказал, что людей вообще развитых, просвещённых и с передовыми понятиями в России очень мало и те большею частью не имеют никакого веса и авторитета в обществе, так что им и хода никакого не дают, и потому предлагал устроить из тех просвещённых людей общество, не тайное, а вроде товарищества, в котором бы каждый поддерживал друг друга. Был этот разговор?

— Да...

— Сделав предложение об учреждении товарищества, Момбелли спрашивал у вас и у Спешнева мнения по этому поводу. Спешнев отозвался, что не имеет на этот счёт положительного мнения, а вы сказали, что вы фурьерист и знаете пользу всякой ассоциации...

— Про слова Спешнева ничего сказать не могу, а свои признаю.

— Потом вы договорились собраться у Спешнева для обсуждения этого предмета и привести с собой по одному человеку. Спустя два дня вы были у Спешнева, где собирались все лица, избранные в состав товарищества, рассуждали о выгодах солидарности, о способах устройства общества и о составе комитета из людей с идеями, которые могли бы двинуть общество вперёд на других началах. Кто предназначался в состав упомянутого комитета, и какие предлагались способы к устройству общества?

— В комитет мы хотели войти сами, но не составили его, и товарищество не состоялось.

— Спешнев на том же собрании предлагал составление политического общества, чтобы воспользоваться переворотом, который, по его мнению, должен был сам собой произойти в России через несколько лет, как это случилось в западных государствах. Так ли это было?

— Я помню, что Спешнев говорил, что переворот может случиться через несколько лет... Предлагал ли он политическое общество составить — не помню...

— Значит, не помните? — усмехнулся Дубельт. — А нам известно, что тогда же Спешнев читал составленный им план тайного общества, содержание которого заключалось в том, что есть три внеправительственных пути действия: иезуитский, пропагандный и восстание. Каждый из них неверен, и оттого больше шансов, если взять все три дороги, а для этого надо учредить один центральный комитет, задачи которого будут в создании частных: комитета товарищества, комитета для устройства школ пропаганды фурьеристской, коммунистической и либеральной, и, наконец, комитета тайного общества для восстания. Какие были приняты меры к приведению этого плана в исполнение?

— Слова Спешнева подтверждаю, но мер не было принято.

— Самые приближённые к вам люди показывают, что вы в разговорах своих называли Государя Императора богдыханом. Было дело?

— Было. Называл...

— В бумагах ваших найдено черновое письмо к неизвестному в виде описания путешествия, которое начинается так... — Князь Гагарин взял лист со стола и прочитал: — “С тех пор, как я оставил наше смрадное отечество, где нет возможности не говорить думать, а кажется, дышать свободно!” Объясните, когда и кому писано это письмо?

— Не припоминаю.

— Антонелли показывает, что при разговорах ваших с ним он узнал, что вы, желая вести пропаганду, старались своих приверженцев поместить учителями в разные учебные заведения и с этой целью сами держали в университете пробную лекцию и были одобрены, но профессор Ивановский донёс, что вы желаете вступить учителем, чтобы распространять между студентами идеи социализма, и вам учтиво отказали. Так ли это?

— Показания Антонелли подтверждаю. От желания пропаганды не отрицаюсь...

— Вы обвиняетесь в распространении идей фурьеристского толка. И сейчас подтвердили это. Объясните нам, чего вы хотели добиться? — спросил князь Гагарин.

— Против обвинения в распространении идей фурьеристского толка скажу, что толка никакого не знаю, знаю только единственно систему Фурье, которой многие идеи признаю хорошими.

— Что же это за система?

— Система Фурье есть не что иное, как изложение способов соединения выгод частного хозяйства с выгодами хозяйства в складчину, общинного.

— Для кого выгоды? — уточнил Гагарин.

— Фурье понял, что большая часть страданий людей происходит от не-правильности их развития и что поэтому источника всего худого не следует искать в природе человеческой, но в самом устройстве житейских отношений. Когда будут сделаны эти отношения правильными, будут устранены все вредные явления.

— Как это сделать?

— Чтоб это сделать, надо: 1. Чтоб выгоды всех были между собой тесно связаны. 2. Чтоб было довольство материальное — обилие средств удовлетворения потребностей. 3. Чтоб все в людях способности были правильно развиты, употреблены и направлены. Когда Фурье такой разбор сделал, ему уж нетрудно было прийти к мысли о фаланстере, то есть общине, в которой соединялись бы все удобства частного отдельного хозяйства в складчину...

— Такое невозможно! Это преступные мысли, преступные деяния... — сделал вывод князь Гагарин.

— Не уголовному следствию рассматривать это дело должно, а учёным. Пусть нарядится учёная комиссия из профессоров университета, академий, людей образованных от разных министерств, и дозвоьте нам составить комитет для защиты нашего убеждения.

— Ну да, мы сейчас учёных соберём и будем нянчиться с вами... — ехидно бросил генерал Набоков.

— Не нянчиться, а государственное дело делать! — перебил его строго Петрашевский. — Прошу вас, господа следователи, объявить Его Императорскому Величеству, что здесь, в тиши заключения, разбирая обвинение, клевету чёрную, помысел небывалый, на меня возведённый, убедился я ещё сильнее прежнего, что первая необходимость земли русской есть справедливость — вот надёжный оплот общественного порядка.

— Мы это здесь уже слышали! — усмехнулся Набоков.

— России нужно введение адвокатов и суда присяжных. В течение моего заключения я эти вопросы обдумал совершенно и придумал способы их введения, без изменений коренных в судопроизводстве, сохраняя все отношения между сословиями в том виде, как до сих пор существовали, и неде-ли через четыре могу их представить совершенно обработанными...

— Это невозможно! — остановил его князь Гагарин. — И в России никогда не будет.

А генерал Набоков засмеялся:

— Может, нам доложить Его Императорскому Величеству, чтоб он вас в министры назначил или доверил законы писать?

— Довольно на сегодня, — объявил князь Гагарин, поднимаясь. — Отведите обвиняемого в каземат.

Петрашевский встал со стула и вдруг произнёс громко:

— Господа следователи! Прошу внимания. Я хочу сделать заявление!



Генералы переглянулись, и князь Гагарин кивнул, разрешая говорить.

— Считаю своим долгом обратить ваше внимание на моих товарищей по заключению и просить вас позволить им чтение книг, прогулку в саду два раза. Уединённое заключение в людях с сильно развитым воображением и подвижной нервной системой может произвести умственное помешательство. Особенно пагубное влияние заключение может иметь на Достоевского, страдавшего и раньше нервическими припадками, на Момбелли, человека склонного к ипохондрии, и на Ханькова, человека с пламенным воображением и весьма нервного... Не забудьте, что большие таланты, а талант Достоевского не из маленьких в литературе, есть собственность общественная, достоинство народное...

— Нам виднее, как поступать с заключёнными, — хмуро ответил князь Гагарин. — Отведите обвиняемого в каземат...

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ЭШАФОТ

Утром двадцать второго декабря Достоевский проснулся до рассвета. Спал, как всегда, беспокойно, поднялся с постели с привычной теперь тоской, сутулясь, подошёл к окну, влез на подоконник и открыл форточку. Свежий воздух дохнул ему в лицо. Фёдор Михайлович жадно потянул его в себя, словно надеясь, что морозный воздух рассеет его тоску.

На улице было ещё темно, но почему-то светлее, чем вчера в это же время. Достоевский догадался, что ночью выпал свежий снег и вся земля покрыта пушистым снегом. Вспомнилось, как мальчишкой любил он бегать по такому мягкому, лёгкому снегу, утопая по колени. На колокольне Петропавловского собора зазвучали тонкие переливы колоколов и донёся бой часов. Половина седьмого. Когда звуки эти замолкли, послышались за окном чьи-то озабоченные голоса. Фёдор Михайлович заинтересовался, остался на подоконнике, прислушался. На улице началось какое-то необыкновенное движение. Темнота разжижалась быстро. Светало. И чем светлее становилось на улице, тем беспокойнее нарастало движение в крепости. Скрип снега под колёсами долетел отдалённый, и через некоторое время из-за собора показались кареты. Они шли и шли одна за другой, и останавливались неподалёку от собора. Вслед за ними выехал большой отряд конницы. Жандармы... Неужели за ними? Сердце забилося...

В коридоре тоже света слышалась. Начали гремять засовы, хлопать двери. Фёдор Михайлович спрыгнул с подоконника. Стал с волнением ждать, что будет дальше. Зазвенели ключи возле его двери, вошёл офицер с солдатом. Солдат держал в руках его одежду, в которой он был арестован. Кинул на койку.

— Одевайтесь, — строго и хмуро буркнул офицер. — И чулки наденьте, холодно! — кивнул он на кровать.

Солдат вместе с одеждой принёс тёплые толстые чулки.

— А что случилось? Закончено дело? Освобождают?

— Переодевайтесь, не мешкайте, — снова буркнул офицер и двинулся к двери. Солдат за ним.

Достоевский переоделся торопливо в прохладную одежду. Сапоги на толстые чулки не лезли. Еле натянул, потоптался на месте, разминая сапоги.

Ждать пришлось недолго. Вернулся солдат и торопливо вывел на крыльцо. Фёдор Михайлович по пути оглядывался, надеясь увидеть кого-нибудь из товарищей. В коридоре света, но никого из заключённых не видно. Едва вышли на крыльцо, как к нему тут же подкатила карета, визжа колесами по снегу. Следов от колёс у крыльца было много, видно, не первого его усаживали в карету. Рядом с ним примостился солдат, захлопнул дверь, и карета отъехала, но через минуту остановилась. Окно кареты сбоку было затянуто толстым слоем инея. Ничего не видно. Только слышны разговоры, топот копыт, скрип снега. Стояли недолго, тронулись, покатали довольно быстро.

— Куда мы едем? — повернулся Достоевский к солдату.

— Не могу знать...

Фёдор Михайлович отвернулся к окну и стал соскабливать ногтем иней со стекла, дышать на него. Протаял дырочку и прищипнул глазом. Увидел каменные дома, прохожих на тротуаре. Люди останавливались, глядели на необычный поток карет, сопровождаемый эскадроном жандармов. Въехали на мост через Неву. Стекло быстро затягивало плёнкой иней, и Достоевский по минутному оттаивал дырочку, жадно смотрел на улицу, на прохожих, на густой утренний дым над крышами. Ветра не было. Дым из труб столбами поднимался вверх. Карета вскоре остановилась.

Солдат вылез, выпрыгнул в снег и приказал:

— Вылезайте! Прибыли!

Достоевский, жмуясь от ослепительного снега, выбрался из кареты и остановился, ошеломлённый чудесным зимним утром. Воздух был свеж, чист. Фёдор Михайлович замер с улыбкой, не замечая войск, четырёхугольником окруживших площадь, людей на валу, карет, жандармов. Очнулся он тогда, когда солдат грубо ухватил его за локоть и подтолкнул со словами:

— Вон туда ступайте!

Достоевский увидел посреди площади деревянную квадратную постройку, помост с лестницей. Понял, что это эшафот. Возле него толпой стояли бородатые люди.

Не сразу узнал в них Фёдор Михайлович товарищей по несчастью, потрясён был страшной в них переменой. Худые, измученные, бледные. Особенно не узнать Шпешнева. Раньше был он красавец. Сильный, цветущий. Теперь глаза у него ввалились, синие круги под ними, щёки и лоб жёлтые. Волосы длинные, большая борода. “Неужели и я таков?” — заныло сердце. Достоевский шёл к ним, всё убыстряя шаг. Навстречу ему отделился человек. Фёдор Михайлович узнал в нём Дурова. Они обнялись. Обнимали его и другие, спрашивали что-то. Он кивал, сдерживая слёзы.

— Теперь нечего прощаться! Становите их, — раздался крик.

Кричал генерал. Он подкакал на коне. Сразу же появился чиновник со списком и начал громко выкрикивать фамилии, указывая, где становиться. Первым поставили Петрашевского, за ним Шпешнева, Момбелли. Достоевский оказался в середине. Когда всех выстроили в ряд, подошёл высокий чёрный священник с крестом в руке и торжественным голосом объявил:

— Сейчас вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной!

Он, не оглядываясь, пошёл вдоль рядов войск по глубокому снегу.

Все гуськом двинулись за ним. Шли, переговариваясь:

— Куда нас ведут? Что сейчас будет?

— Слышал ведь, приговор...

— И что нам будет?

— На каторгу... В рудники должно...

— А эшафот? Зачем эшафот? И столбы?

— Какие ещё столбы?

— А вон...

Действительно, неподалёку от эшафота врыты в землю три столба.

— Не на каторгу нас, братцы! Расстреляют... Привязывать будут к столбам...

— Не посмеют! Не может быть!

— Они посмеют. Они все посмеют... Царю не в первый раз...

— Как же так?! Неужели конец?..

Священник поднялся по ступеням на эшафот. Петрашевцы взошли следом, сгрудились посреди. Солдаты, сопровождавшие их во время обхода войск, выстроились на эшафоте позади арестантов. Чиновник со списком вновь начал выкрикивать фамилии, выстраивать. На этот раз в два ряда. Возле каждого оказался солдат.

— На кра-ул! — рявкнула команда в отдалении.

Несколько полков, окруживших площадь, одновременно стукнули ружьями, встав по стойке смирно.

— Шапки долой!

Арестанты не поняли, что это относится к ним, и не шелохнулись.

— Шапки снять! — крикнул офицер раздражённо.

— Снимите с них шапки! — это уж солдатам.

С Достоевского сорвал шапку стоявший сзади солдат.

Пока обнимались, брели по площади, холода не ощущалось, но на эшафоте, когда расставляли в два ряда, стало зябко. Без шапки мороз сразу стянул голову. Фёдор Михайлович съёжился, сеутулился, втянул голову в плечи. Не заметил, как на эшафоте появился чиновник в мундире. Увидел его, когда он неожиданно зычным голосом начал читать приговор суда. Читал долго, перечислял вину каждого. Сердце ныло, стучало. Неужели конец, неужели всё?.. Жадными глазами смотрел на толпу, на дым над крышами, на ярко блестящие на солнце главы собора. Холодом стягивало не только голову, но и сердце. А над площадью разносились слова:

— Генерал-аудиториат, рассмотрев приговор Военного суда по полемому Уголовному уложению по делу подсудимого Буташевича-Петрашевского и его товарищей, подтверждает этот приговор и полагает: всех сих подсудимых, а именно титулярного советника Буташевича-Петрашевского, не служащего дворянина Спешнева, поручиков Момбелли и Григорьева...

Достоевский прикрыл глаза, ожидая своего имени.

— ...отставного поручика Достоевского, — выкрикнул чиновник.

Сердце дрогнуло. Фёдор Михайлович открыл глаза, снова взглянул на толпу людей на валу. Может быть, брат здесь? Слышит...

Чиновник закончил выкрикивать фамилии и объявил:

— ...подвергнуть смертной казни расстрелянием! И девятнадцатого сего декабря государь император на приговоре собственноручно написать соизволил: "Быть по сему!"

Он замолчал, и сразу по площади прокатилась барабанная дробь. На помост снова поднялся чёрный священник. На этот раз с Евангелием и крестом.

— Братья! Перед смертью надо покаяться... Кающемуся Спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди!

Священник в ожидании замолчал, но никто из осуждённых не двинулся к нему. Священник растерялся и снова выкрикнул:

— Кающемуся Спаситель прощает грехи!

Но никто снова не шелохнулся. Священник медленно обвёл глазами осуждённых. Достоевский, встретившись с ним взглядом, смущённо и виновато отвернулся, а Петрашевский насмешливо хмыкнул, глядя в глаза священнику. Растерянный священник стоял посреди эшафота.

— Батюшка! — крикнул ему генерал, сидевший на коне. — Вы исполнили всё, вам здесь нечего делать!

Священник неуклюже повернулся и сошёл вниз, а на эшафот тотчас же поднялись солдаты со свёртками и стали обрывать осуждённых в длинные белые балахоны с капюшонами. Рукава балахонов болтались чуть ли не до земли. Трёх — Петрашевского, Григорьева и Момбелли — солдаты подхватили под руки, свели с помоста и двинулись к столбам. Поразило то, что все трое безропотно шли навстречу смерти, послушно стали у столбов и молча, терпеливо ждали, когда их привяжут. Напротив выстроился взвод солдат с ружьями.

— Колпаки надвинуть на глаза! — скомандовал офицер.

Солдаты суетливо закрыли лица осуждённых капюшонами и торопливо отбежали в сторону.

Офицер что-то негромко скомандовал, и взвод вскинул ружья, целясь в Петрашевского, Момбелли и Григорьева.

Момент был ужасен. Достоевский закрыл глаза. Сердце готово было взорваться. В ушах звенело от тишины. Удар! Грохот! Нет, это не залп! Это взорвались барабаны.

Достоевский резко вздрогнул, открыл глаза и услышал крик офицера:

— Взвод! Отставить! Ружья к ноге!

К эшафоту быстро подлетел экипаж и остановился. Из него выскочил фельдшер и протянул пакет чиновнику.

Чиновник с зычным голосом открыл пакет, вытащил лист и начал читать перед выстроившимися на эшафоте узниками новый указ Императора.

— Государь Император соизволил пересмотреть приговор Военного суда по полковому Уголовному уложению по делу подсудимого Буташевича-Петрашевского и его товарищей и указал назначить: титулярному советнику Буташевичу-Петрашевскому — каторгу без срока; поручику Момбелли — пятнадцать лет каторги; не служащему дворянину Спешневу — десять лет каторги; отставному коллежскому ассессору Дурову — четыре года каторги с отдачей потом в рядовые; отставному поручику Черноситову — ссылку в крепость Кексгольм...

Фёдор Михайлович Достоевский, улыбаясь, смотрел в ясное яркое небо, слушая свой приговор.

— ...отставному поручику Достоевскому — четыре года каторги с отдачей потом в рядовые...

Когда чиновник опустил лист, петрашевцы стали радостно обниматься на эшафоте, не обращая внимания, как к ним на помост поднимаются два палача в старых цветных кафтанах. За ними три кузнеца: один с кандалами в руках, другой — с тяжёлым молотком, а третий — с наковальной.

— Господин Буташевич-Петрашевский, выйти вперёд, — зычноскомандовал офицер.

Солдат, стоявший позади Петрашевского, подтолкнул Михаила Васильевича вперёд.

— На колени! — приказал офицер.

Михаил Васильевич не обратил внимания на приказ офицера. Два солдата бросились к нему и силой поставили Петрашевского на колени. К нему важно подошёл палач в цветном кафтане, обнажил шпагу и сломал её над головой Петрашевского. К нему тут же подошли кузнецы с кандалами, молотком и наковальной, опустились около него на колени, установили возле него наковальню, звеня цепью, надели на ноги кандалы и начали осторожно, потихоньку заковывать.

Петрашевский смотрел-смотрел на них, морщась, потом вдруг наклонился, выхватил молоток из рук кузнеца.

— Неумехи! — вскрикнул он. — Смотрите, как надо дело делать!

Михаил Васильевич сел на помост и начал быстро уверенно бить молотком по заклёпкам кандалов.

Скрипя по полозьям, к эшафоту подъехала кибитка, запряжённая тройкой лошадей. Из нее вылезли жандарм с тулупом в руке и фельдъегерь.

— Пора отправляться. Проходите в кибитку, — приказал фельдъегерь.

— Я ещё не окончил все дела, — возразил Петрашевский.

— Какие у вас ещё дела?

— Я хочу проститься с моими товарищами.

— Ну, это вы можете сделать.

С трудом передвигая ноги в кандалах, Петрашевский пошёл от одного узника к другому, обнимал каждого, целовал на прощание. Обнял и Достоевского, у которого на глазах видны были слёзы.

— Четыре года пройдут быстро. Чистый лист подождёт... Потом ты снова возьмёшь перо в руку... — сказал ему Петрашевский.

Михаил Васильевич, гремя кандалами по ступеням, спустился к кибитке, где у распахнутой двери его ждал жандарм с тулупом, остановился у двери, повернулся к узникам и поднял вверх руку.

— Прощайте, более мы уже не увидимся!

Он поклонился всем в последний раз и стал надевать тулуп. Надел, натянул на голову шапку и сказал громко:

— Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком костюме делаешься противен сам себе!

Жандарм подтолкнул его к открытой двери кибитки. Петрашевский влез в неё, за ним — фельдъегерь, потом — жандарм. Кучер взмахнул кнутом, и кибитка, тонко зазвенев колокольчиком, заскрипела полозьями по площади.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ПИСЬМО БРАТУ

Петербург, Петропавловская крепость  
22 декабря 1849 года

Брат, любезный друг мой! Всё решено. Я приговорён к четырёхлетним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые...

Сейчас мне сказали, что нам сегодня или завтра отправляться в поход. Я просил видетсья с тобой. Но мне сказали, что это невозможно; могу только тебе написать это письмо, по которому поторопись и ты дать мне поскорей отзыв. Я боюсь, что тебе был как-нибудь известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семёновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть прошла уже и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня.

Брат! Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть — вот в чём жизнь! В чём задача её. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою.

Да, правда! Та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и ещё не воплощённые мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая так же может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это всё-таки жизнь.

Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через четыре года будет возможность. Я перешлю тебе всё, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольётся! Да если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заточения и перо в руках.

Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце моё.

Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение моё!

Твой брат Фёдор Достоевский.